Leskov, Nikolai Semenovich

Zaiachii Remiz. Nabliudeniia, opyty i Prikliucheniia Onopriia Pereguda iz Peregudov


ИЗДАТЕЛЬСТВО
КРУГ

Отпечатано в 13-й тип треста „Моспечать“, Петровка, 17, в колич. 3.000 экз.
Обложка и марка изд-ва раб. худ. Ю. П. Анненкова.

Н. С. ЛЕСКОВ.

ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ.

Наблюдения, опыты и приключения
Оноприя Перегуда из Перегудов.

„КРУГ“
Москва—Петербург.
1922.

Главлит. № 3454 (Москва).

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемая вниманию читателей повесть Н. С. Лескова «Заячий ремиз» впервые была напечатана в журнале «Нива» за 1917 г., № 34—37. До того считалась не опубликованной и ни в одно из собраний сочинений Н. С. Лескова не вошедшей.

ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ *).

Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов.

„Встань, если хотишь, на ровном месте и вели поставить вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что один твой телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркалы отнять, все копии сокрываются. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует лицевидным деянием невидимую и присносущную силу и божество того человека, коего все наши болваны суть яки бы зерцаловидные тени“.

Григорий Сковорода.

Краткое предисловие.

По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обык-

*) В рукописи повесть первоначально названа „Игра с болваном“, но затем рукою автора прежнее заглавие перечеркнуто и надписано: „Заячий ремиз“.

новенном разговорном языке называется „сумасшедшим домом“, чем она и есть на самом деле. За исключением небольшого числа лиц испытуемых, все больные этого заведения считаются „сумасшедшими“ и „невменяемыми“, т.-е. они не отвечают за свои слова, ни за поступки.

Приходя сюда с тем, чтобы видеть одного из таких больных, я незаметно перезнакомился и со многими другими, между которыми были люди интересные—в том отношении, что помешательство их было почти неуловимо, а между тем они несомненно были помешаны. Между прочими таков был чрезвычайно трудолюбивый, а при том и очень веселый и разговорчивый старик в бабьем повойнике, по имени Оноприй Опанасович Перегуд из Перегудов. Начальство заведения, прислуга и все больные звали его: „Чулочный фабрикант“, потому что он во всякое время, когда только не ел и не спал, постоянно вязал чулки и дарил их бедным. Кличкою „Чулочный фабрикант“ он ни мало не обижался, а даже был ею доволен и находил в этом свое призвание. Он был всеобщий друг и фаворит, и его не обижал даже „Король Брындохлыст“, сумасшедший человек огромного роста и чудовищной силы, который ходил в короне из

фольги и требовал ото всех знаков раболепного почтения, а непокорным ставил подножки и давал затрещины, с Перегудом он проделал это только один раз в первый день его прибытия, а затем никогда этого не повторял и даже ограждал его, как своего „верноподданного болвана“ и „лейб-вязальщика“. О причине их дружбы с королем Бриндохлыстом еще раз будет упомянуто в своем месте этой истории.

От роду Перегуду было лет за шестьдесят; он был „очень здоров“, крепкого сложения, „присадковатой фигуры“ и „круглого лица“, „як добра каунка“, т.-е. арбуз. Он происходил из мелкопоместных дворян, которых в Перегудах числилось большое изобилие. По первоначалу он не приготовлялся для вязанья чулок, а даже „урвал себе самое необыкновенное образование“ и „исполнял необыкновенный долг службы свыше всякого воображения“. Во всем этом Перегуд столько самого себя превзошел, что даже наконец „сам для себя стал не понятен и удивителен“. По убеждениям он был „частью честолюб, а частью консерватор“, а в жизни „любил тишноту“, и чтобы „никто один другому не смел позу рожи показывать“. И при таких своих дарованиях Оноприй Опанасович Перегуд „всеудивительно

себя превознес посредством „Чина явления истины“ и потом „сам же себя жесточайше уменьчтожил“. Произошло это удивительно и печально, но Перегуд на это не роптал, ибо все это „походило от собственной его удивленной природы“. А природа его была такова, что он еще в детстве своем бегал сам за собою вокруг бочки, настойчиво стараясь сам себя догнать и выпередить. Естественно, что человеку с таким настроением в конце концов не могло быть покойно, и дело дошло до того, что после многих стараний Перегуду удалось сделаться жильцом сумасшедшого дома, где он и изложил в общеинтересных и занимательных беседах предлагаемую вслед за сим повесть.

Но, прежде чем передавать повесть Перегуда, прошу позволения сказать нечто о месте, где он жил и действовал, а также об его происхождении.

I.

В одной из малороссийских губерний есть очень большое и красивое село Перегуды. По мнению сведущих людей, это село давно бы надо уже переименовать в местечко, или даже можно было бы об‘явить его и горо-

дом; но только это нельзя сделать, потому что „против сего есть заклятие от старого Перегуда“. А кто такой был старый Перегуд? Это надо помнить, потому что он был когда-то человек очень важный—„казацкая старшина“ и лыцарь; он лихо командовал полком и звали его Опанас Опанасович. В честь его и теперь все его внуки и правнуки, которые носят фамилию Перегуды или Перегуденки, непременно потрафляют так, чтобы их дети мужеского пола были или Опанасы или, по крайней мере, хоть Опанасовичи.

Такая уже „поведенция“, чтобы молодое дитя всегда звалось „у дидову честь“, ибо „дид того стоил“.

— Я вам про него отлично могу все рассказать,—говорил, сдвигая на затылок колпак, Оноприй Перегуд и рассказывал длинную историю, из которой я подам только любопытнейшие извлечения.

Прошу меня не осудить за то, что здесь его и мои слова будут перемешаны вместе. Я допустил это для того, чтобы не все распространять так пространно, как говорил на гулянках Оноприй Перегуд. Многое, по его мнению, важное на самом деле мне казалось не важным и опущено, как совершенно не идущее к делу, или же изложено

кратче моими словами, при чем вся суть событий сохранена, а откинуты повторения и другие приемы многословия мечтательного маньяка, через которые рассказ его был бы не свободен от длиннот и через то непременно утрачивал бы интерес.

II.

Полковник Опанас Опанасович или, как принято говорить: „старый Перегуд", сам и основал село Перегуды. Сначала здесь ничего не было, а потом стоял только млын или по-российски „мельница". Знаете песенку по малороссийски спивают: „був да нэма, да поихав до мль'на", а кацапы поют: „было да нетути, и поехал на мельницу". Преглупая кацапузия, а все непременно норовит везде на свой фасон сделать! Ну да ладно! А потом еще позже около млына стал Перегудов хутор, а еще позже, как Божиим произволением люди понарожались и население умножилось, то уже стало и село. Вот тогда дид Опанас закрутил себе чуб и стал навыдумливать: нарыл прудов, насажал рыбы с Остра и завел баштаны да огороды и как стал собирать жинок и дивчат на полотье, то за их помочью,--пожалуйте, —еще больше людей намножил, и стало

уже так много христиан, что, как хотишь, а довелось построить для них и церковь и дать им просвещенного попа, чтобы они соблюли закон христианский и знали, какой они породы и чем их вера лучше всех иных вер на свете. Иначе они не могли бы себя содержать в особливости без различия с литвою и ляхами, а наипаче с лютерами и жидами. Старый Перегуд все и сделал, что было надобно, и ничего за ним не стояло: он срубил и церковь с колокольнею и привез откуда-то попа Прокопа всем на заглядение, ибо это был человек самого превосходного вида: рослый, пузатый и в красных чоботах, а лицо тоже красное, як у серафима, а притом голос такой обширный, что даже уши от него затыкали.

Старый пан Опанас был уж такой человек, что, если он что нибудь делал, то всегда делал на славу; а как он был огромный и верный борец за „православную веру", то и терпеть не мог никаких „недоверков"— и добыл в Перегуды такого отца, который не потерпел бы ни люторей, ни жидов, ни—Боже спаси—поляков. Если совсем правду сказать, то оба они не очень-то уважали и господ москалей и даже постоянно не иначе их называли, как „чертовы дети", но чтобы не накликать этим к себе „москаля на двор",

они в открытую борьбу с москалями не вступали, а только молилися тихо ко Господу, щобы их „сила Божа побила“.

В обхождении с властными людьми дедушка Опанас был весьма благоискусен, особенно с теми, которые этого стоили; но при этом оставаясь с людьми одной своей „верной природы“, Перегуд не скрывал, что он искренно поважал только одно доброе казачество и для того хранил до них такую верность и вежливость, что завладел всею перегудинскою казачиною и устроил так, что все здешние люди не могли ни расплыться по сторонам, ни перемешаться глупым обычаем с кем попадя. Опанас Опанасович закрепостил их за собою и учинился над ними пан, еще где до Катериных времен! Так это сделал Перегуд еще при казацкой старшине, про которую добрые люди груди провздыхали и очи проплакали. И сделал он все это за помощию старшин так акуратно, что все перегудинские казаки и не заметили „чи як, чи з якого повода“ их стали писать „крепаками“, а которые не захотели итти для дидуси на панщину, то щобы они ни сопротивлялися, их,—пожалуйте,—на панском дворе добре прострочили, некоторых российскими батогами, а иных родною пугою, но бысть в тих обоих сред-

ствах и цина и вкус одинаковы. Но, а как это новым Перегудинским крепакам однако всетаки еще не нравилось, то, чтобы исправить в них поврежденные понятия и освежить одеревянелый вкус, за дело взялся поп Прокоп, который служил в красных чоботах и всякую неделю читал людям за обеднею то „Павлечтение", которое укрепляет в людях веру, что они „рабы", и что цель их жизни состоит в том, что они должны „повиноваться своим господам". А чтобы это было крепко на веки веков, произошло то заклятие, которое не дозволяет селу Перегудам переименоваться ни в торговое местечко ни в город.

III.

Так как Перегудинские казаки не видали для себя удовольствия быть крепостными и, познакомясь с батогами и пугою, поняли, что это одно другого стоит, и что им дома бунтовать невозможно, то они „удалились до жида Хаима", чтобы занять у него „копу червонцев". Крепаки захотели посылать в Питер справедливого человека, который мог бы доступить до Царицы и доказать ей или ее великим российским панам, что в селе Перегудах было настоящее казацкое лыцар-

ство, а не крепаки, которых можно продавать и покупать, как крымских невольников или как „быдло“. Но прежде чем казаки с жидом насчет денег сговорилися, прознал о сем пан полковник и „перелупцовав“ всех этих бывших лыцарей, по своему уже, „одностойне пугою“; а как он еще не любил кое-как кончать никакое дело, то у него еще достало ума, чтобы „предусмотреть и на будущее“. Перегуд сообразил, что может случиться вперед, если крепаки добудут разум и гроши, и положил предотвратить всякий возможный вред удалением соблазнов. А как соблазны во всех делах подневольным людям всегда подают люди вольные, то надо было позаботиться, чтобы невольные с вольными близко не якшались. И вот для этого благой памяти старый полковник наскочил с хлопьятами и разорил жидовский дом, а потом и самого жида выгнал из Перегуд и разметал его „бебехи“, чтобы „не было тут того подлого и духу жидовского, бо выбачайте, все жиды одинаково суть враги рода христианского“.

А когда после этого все благополучно уставилось и протекло не малое время, в течение которого казаки перестали покушаться добывать себе назад лыцарство, милосердный Бог судил Опанасу Опанасовичу

„дождать лет своей жизни“, то он увидал сынов и дщерей, и сынов сынов своих и дщерей, и обо всех о них позаботился, как истинный христианин, который знает, что заповедано в Божием писании, у святого апостола Павла, к Коринфянам во втором послании, в двенадцатой главе, в четырнадцатом стихе, где сказано, что „не должны бо суть чада родителем снискать имении, но родители чадам“. И Опанас Опанасович соблюл это наставление, и когда его стараниями, а Божиим смотрением стало много Перегудов и Перегуденков, то было уже для них у старого полковника припасено и много добра.

Когда же все земное было устроено и Перегуд увидел, что житницы его полны, а век его иждивается и „лита уже прошли як слид по закону“, то став взирать и ко вышняя, и когда занедужал один раз животом и до того вредно, что мало чуть внутренности из него не выпали, то он тогда вспомянул о „часе воли Божией“ и начав воображать в своей фантазии: „що тоди буде, як его казацкая душа мало-по-малу да наконец совсем выскочит из тела? Ой, не миновать ей того, чтобы устретить тех самых повсеместно летающих страшных и престрашных воздушных духов или, попросту

сказать, бесов или чертяк, которые намалеваны в Лавре на стенке у Пещерной брамы на выходе!.. Гей, то с ними тогда буде добра работа, и дешево не разделаешься. А деньги то все на земле останутся"... Смел он был очень, но знаете, однако, такая беспокойная встреча если кому навяжется в голову, да еще при болезни, то это мое почтение! Пробовал Перегуд хорошо испить „на потуху" и постараться уснуть покрепче, но все воздушных бесов множество за ним гналося и во сне ему стало сниться. Перегуд видел, как они восшумев своими перепончатыми крылами хуже, як литучи мыши, схопят его за чуб и поволокут в ад, а другие будут подгонять сзади огненными прутьями...

— Сохрани и спаси от сего Мати Божа Печерская!.

IV.

Пан Опанас сейчас же проснулся и в первую голову позвал попа в красных чоботах и подписал в свое завещание еще сто дукатов на колокол, и чтобы отлито было с его „фигурою", а потом сказал тому пузатому попу Прокопу на ухо, по секрету от всех „яку-то заклятку", и сам тут при всех

рожу скривил да и умер. Такая-то была его кончина. А как принесли его в церковь, то все его хотели видеть, бо он убран был в алом жупане и в поясе с золотыми цветками, но поп Прокоп не дал и смотреть на полковника, а взлезши на амвон, махнул рукою на гроб и сказал: „Закройте его шведче: иль вы не чуете, як засмердело!“ А когда крышку нахлопнули и алый жупан Перегуда скрылся, то тогда поп Прокоп во весь голос зачал воздавать славу Перегуду и так спросил:

— Братия! Все вы его знали, а не все вы теперь знаете, що от сей наш пан Опанас завищал, бо то была велыка его тайна, котору он мне открыл только в саму последнюю минуту, с тим, щоб я вам про это сказал над его гробом, и щобы вы вси мне поверили, бо я муж в таком освященном сане, что присяге присягать я не могу, а все должны мне верить по моей иерейской совести, бо она освящена. И потому я пытаю вас добре: чи вирыте вы мине, чи не вирыте? Говорите просто!

И все в один голос ответили:

— Виримо, пан отец, виримо!

А отец Прокоп покивал головою и прослезился и потом отер ладонями оба глаза и сказал томно:

— Спасибо вам, дитки мои духовныи!. Ой, спасибо вам, що вы меня недостойного так богато утешили, хотя я и раньше по очах ваших видел, що вы имеите до миня всяку веру, истинну же и не лицемерну, и не лицеприятну, и плодоносящу, и добродеющу. Так и знайте же зато, все люди Божии, що сей старый наш пан и благодетель, его же погребаем, в остатнем часе своего жития схилился ко мне до уха, а потом на грудь так, что мне от него аж пылом и смрадом смерти повеяло, и он в ту минуту сказал мне... Слухайте-ж! Вси слухайте! Бо се слова вже все ровно як бы с того свита... То вин сказал так:

„— Пан отец! Скажи всем людям на моем погребении, что я им заклинаю и всех моих родичей и наследников, щобы на вичны вики щоб никогда не було у нас в Перегудах ни жида ни котолика! От! И щобы не було у нас ни котолицкого костела ни жидовской школы; а чтобы была у нас навсегда одна наша истинная христианская вера, в которой все должны исповедаться у тебя, Перегудинского попа, и тебе открывать все, кто что думает. А кто сего святого завета не исполнит и що-нибудь по тайности утаит, то „будет часть его со Иудою, который сидит у самого главного чертяка в аду с кошельком на коленях и жарится в сере“.

И тут поп Прокоп поднял руку и забожился, что он это не выдумал, а что так истинно говорил полковник.

Этому долго все верили, но потом стали появляться кое-какие вольнодумцы, которые начали говорить что отец Прокоп не всегда будто говорит одну чистую правду, и иногда-таки,-прости его Господи,-и препорядочно „брешет“; и от сего-де будто можно немножко сомневаться: правда ли, что старый Перегуд положил заклятие, или, может-быть, это отец Прокоп,—поздравь ему Боже,—сам от себя выдумал, чтобы быть ему одному за все село единственным у Бога печальником.

И как пошло это еретичество в людях, то естественно, что спасительный страх через то был отведен в сторону, и скоро „части с Иудою“ уже почти совсем не боялися. И тогда начали лезть в Перегуды жиды и католики с тем, чтобы им тут купить места и поставить себе домы на базаре; а потом, разумеется, они уж начнут столы стругать, штаны шить да сапоги и шапки ладить, да печь бублики и играть в шинке на скрипицах и доведут Перегуды до того, что все здешние христиане чисто перепьются и перебьют трезвым жидам их носатые морды, а тогда за них, пожалуй, потребуется ответ

как будто и за заправских людей. Однако, несмотря на все эти хитрости, Перегуды все-таки очень легко могли сделаться местечком, если бы все перегудинские дворяне и между собою не пересорились, А какие на свете были перегудинские дворяне и сколько их было числом, то это Оноприй Опанасович сказывал сбивчиво, и думается, что всех их и описать нельзя, а довольно сказать, что все они ссорились и старались докучать и досаждать друг другу. В отдельности же из них надобно назвать только самого важного—это был Опанас Опанасович, который вывел свою фамилию в свет тем, что покинул домоседство и служил где-то по комиссариату первой или второй армии. Сей увеличил свою житницу и, имея единственного сына Дмитрия, дал ему столь превосходное воспитание в московском пансионе Галушки, что этот молодец научился там говорить по-французски о чем вам угодно. После этого его скоро определили по таможенной части, где он служил с честию и, получив чин коллежского советника, а также скопив состояние, вышел в отставку на пенсию. Еще состоя на службе, Дмитрий Афанасьевич Перегудов женился законным браком на начальственной родственнице Матильде Опольдовне,

про которую, впрочем, говорили, будто она даже никому и не родственница, ну да это и не важно, потому что, как только Перегудов приехал к себе в деревню, жена его не стерпела здешней жизни и скоро от него ушла жить в Митаву. Дмитрию Афанасьевичу стало не с кем говорить по-французски, но он скоро придумал, как пособить этому горю, и о деяниях его впереди ожидает нас некоторая мимолетная повесть.

Другой же видный перегудинский дворянин, как хотите, был тот самый Оноприй Опанасович Перегуд, которого я зазнал в сумасшедшем доме, и теперь дальше уже сам он будет вам рассказывать свою жизнь, опыты и приключения.

Оноприй Опанасович, совершенно другого воспитания, чем Дмитрий Афанасьевичь ибо Оноприй не достигал московского пансиона Галушки, но зато он в воспитании своем улучил нечто иное, и притом гораздо более замечательное. Вот он теперь перед вами: он сравнял на коленях свое вязанье и начал говорить.

— Пожалуйте!.

V.

В моей жизни было всего очень много, но особенно оригинальности и неожидан-

ности. Начну с того, что так учиться, как я обучался—я думаю, едва ли кому другому из образованных людей трафилось. А и с тем однако я все-таки еще в люди вышел и, заметьте должность какую сразу получил, и судил и допрашивал, и не малую пользу принес и жил бы до века, если бы не романс: „И может-быть, мечты мои безумны“!.. Ах, слушайте, ведь я учился всем наукам в архиерейском хоре! Помилуйте-с! А как я оттуда прямо на цивильную должность попал—это тоже замечательно, но только непременно надо вам немножко знать, как у нас лежит наше село Перегуды, ибо иначе вы никак не поймете того, что придет о моем отце, о рыбе налиме и о благодетеле моем архиерее, и как я до него пристал, а он меня устроил.

Оно, то-есть село наше, видите, совершенно как в романах пишут, раскинуто в прекрасно живописной местности, где соединялись чи свивались две реки, обе недостойные упоминания по их неспособности к судоходству. И есть у нас в Перегудах все, что красит всеми любимую страну Малороссию: есть сады, есть ставы, есть тополи, и белые хаты, и бравые паробки, и чернобрыви дивчата. И всего люду там теперь наплодилось более, чем три тысячи

душ, порассеянных в беленьких хатках. Про нашу Малороссию все это уже много раз описывали такие великие паны, как Гоголь, и Основьяненко, и Дзюбатый, после которых мне уже нечего и соваться вам рассказывать. Особенности же, какие были у нас в Перегудах, состояли в том, что у нас в одном селении да благодаря Бога было аж одиннадцать помещиков, и по них одиннадцать панских усадьб, и все-то домики по большей части были зворочены окнами на большой пруд, в котором летнею порою перегудинские паны, дай им боже здоровья, купались, и оттого и происходили совместно удовольствия и неприятности, ибо окрытую полотном купальню учредил оный воспитанник пансиона Галушки, Дмитрий—як его долее звать чи що Афанасьевич, потому что у них после от'езда в Митаву их законной жены были постоянно доброзрачные экономки, а потому Дмитрий Афанасьевич, имея ревнивые чувства, не желали, щобы иные люди на сих дам взирали. Господи мой! як бы то им что-либо от очей подиется! Ну, а все прочие перегудинские паны на такие вытребенки не тратились, а купались себе прямо с бережка, где сходить лучше, и не закрывались, ибо что в том за секрет, кто с чем сотворен от Господа.

Се же и есть в том тайна Господня творения, разделающа мужский пол и женский; а человеку нечего над тем удивляться и умствовать, ибо не даром мудрейший глаголет в Еклезиасте: „не мудрися излише, да не когда изумишися“. И точно, были у нас такие паны и пани, что, бывало, как разденутся и начнут входить в воду, то лучше на них не взирай, да не изумишися. Но наши того и не боялись, а иньшии даже и нарочито друг другу такое делали что, если один с гостями на балкон выйде, то другий, который им недоволен, стоит напротив голый, а если на него не смотрят, то крикнет: „Кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку“.

Перегуды и Перегудовны—вси народ терпкий, и исключение составлял один я, ибо я, говорю вам, в воспитании своем в архиерейском хоре получил особое приуготовление.

Теперь, вот позвольте, сейчас будет вам сказ о моем воспитании, про какое вы, наверно, никогда и не чуяли, а теперь враз все узнаете, как оно состоялось,—и главное,—совсем неожиданно и, заметьте, совсем с неподходящего повода—из-за налима.

VI.

Только вы извините, что я и это вам начну опять с мирных и премирных времен моего пресчастливейшего детства, когда я находился при моей матери и всюду ее сопровождал по хозяйству, ел сладкие пенки с варенья, которое она наисмачнейше варила, и вязал под ее надзором для себя чулки и перчатки, и тогда мне казалось, что мне больше ничего и не надо, никакого богатства, ни знатности и никаких посторонних благополучий и велелепий. Думал, что и просить у Бога чего-либо грех иначе как „исполняй еси Господи наше всяко животное благоволение“, о коем сказано в молитве по трапезе. И вправду,—пожалуйте,— кажется, если человек сыт, и ему тепло, и он может иметь добрую компанию, ну, то чего ему еще и требовать! Разумеется, есть неблагодарные и злонравные, коим все мало, ну так у нас таких не было. Маменька моя, впрочем, была не из Перегудинских, но а все-таки тоже хорошенького дворянского рода, а по бедности вела жизнь очень просто. Папеньку она очень любила, да и нельзя было его не любить, потому что папенька мой был очень молодец. Совсем

был не такой, как я! Уг-гу! Где же таки: нэма що и сравнивать. Я какой-то коцубатый да присадковатый, а он был что высокая тополя. И чином он тоже был майор и вышел в отставку за ранами с пенсией, которую ему и выдавали по семи рублей в месяц из казначейства. Без этого нам бы, может-быть, и очень бы туго было, как и другим Перегуденькам, но с пенсией мы жили добре, и мамаша всегда, бывало, мне говорили:

— Эй, Оноприйку! Шануй своего отца, бо ты видишь, как мы за его кровь сколько получаем и можем чай пить, когда у других и к мяте сахару нет. Так мы и жили во всякой богу благодарности, и как родители мои были набожные, то и я был отведен материю моею в семилетнем возрасте на дух к попу! А поп у нас тогда был Маркел Прокопов зять,—бо Прокоп помер,—и был той Маркел страшенный хозяин и превеликий хитрец, и он с пред‘умыслом спросил у меня:

— Чи не крав ли ты, хлопче, огуркие обо кавуны на баштани?

А як мати учила меня отвечать по правде, то я ему и ответил:

— А то як же, батюшка!- -крав.

Он кажет:

— Молодец!.. Бог простит: се дило ребячье.—А потом вспомнил и то спросил:— А не крав ли ты часом тоже и на моей бакши?

А я отвечаю:

— А то как же, батюшка: крав с другими хлопцами и на вашей.

А он тогда взял меня сразу за чуб и так натряс до самаго до полу, что я тим только и избавился, що ткнул его под эпитрахиль в брюхо, и насилу от него вырвался и со слезьми жаловался на то своему отцу с матерью. Отец хотел за это попа бить, но когда они сошлися, то заместо бою между ними настало самое „животное благоволение“. Повод к сему был тот, что в это самое время настал у нас новый архиерей, который был отцу моему по школе товарищ, и собирался он церкви об‘езжать, А отец взял да Маркелу попу тем и похвастался и сказал ему:

— Хоть и очень тебя изобью, то ничего не боюсь тебе велено будет молчать против меня. А то и места лишишься.

Вот поп Маркел, как это почуял, так и говорит отцу:

— Вот чисто все, и видать, что напрасно мы ссоримся. Если так, то хотите бьете, а хотите милуете, но я ничего противного

не хочу, а если вы с нашим архиереем знакомы, то пусть от сего нам обоим добро выйдет.

Отец ему отвечает:

— Из'ясни, что же такое! А архиерея я отлично знаю: мы с ним в бурсе рядом спали и вместе ходили кавуны красть.

А поп потянул рукою себя по бороде и отвечает:

— Извольте же вам за это получения: вот вам первое, что извольте получить,— это на чепан сукна и фунт грецкого мыла супруге на смягченье кожи.

И подает и сукно и мыло.

А отец ему отвечает, что „что же это, ты подаешь, не об'яснив, в чем твое угождение, а думаеш уже как бы с мылом под меня подплынуть! Так и все вы, духовные, такие хитрые; но я еще не забыл, как твой тесть моего дида волю над его гробом с амвони выкликал; а может-быть, все это только его враки были, за то що он хотел выпхать из Перегудов жидов, а потом, когда уже жидов не стало, то он начал сам давать гроши на проценты, а ныне и ты тому же последовал“.

Маркел говорит:

— Вот про сие и речь.

А отец говорит:

— Да що там за ричь! Нэма про що и казать срам! Жид брал только по одному проценту на месяц, а вы берете дороже жидовского. Се, братку, не мылом пахнет!

— Ну, а если не мылом,—отвечал Маркел,—то я подарю вам еще большого глинистого индюха. Що тогда буде?—спросил поп.

— И индюх не поможет.

— А если еще с ним разом и две индюшки?

— Я глинистого пера птицы не отвергаю, потому что она мне ко двору, как и теля светлой шерсти тоже, но все же правда дороже, что ты разоритель...

— Ну хорошо! Пусть вам и буде правда всего дороже. Делать нечего: я вам прибавлю еще и теля. Владейте, бог с вами: из него скоро будет добра коровка!

— Ну это когда она еще вырастет!

— А нет... не говорите так: вырастет и будет очень добра коровка!

— Да когда? Сколько этого ждать! Да и как будет ее молоко пить, когда вспомянешь, что это не за одну правду, а и за детскую кровь узял.

— От далась-таки вам еще эта детская кровь; да еще та самая, которой и не было!

— Ба! Як же то ее не было! Вы же трясли за чуб моего сына! Это надуху и не полагается.

— Эко там велико дело, що я подрав на духу хлопца за чуб за то, що он у меня кавуны крал: он с того растет, а вам от коровки молоко пить будет.

Но отец сказал:

— Это нельзя.

— Почему нельзя?

— А вы разве не читали у Патриаршем Завете, что по продаже Іосифа не все его братья проели деньги, а купили себе да женам сапоги из свинячьей кожи, щобы не есть цену крови, а попирать ее.

— Ну, да понимаю уже, понимаю. Еще и попирать что-то хотите. Ну, так будет вам и попирать — нехай будет по-вашему: я вам прибавлю еще подсвинка со всей его кожею, но только предупреждаю вас, что от того, что вы меня не защитите от всенародного озлобления, вам никакой пользы не прибудется; а как защитите, то все, что я вам пообещался, все ваше будет.

Тогда отец сказал ему:

— Ну, иди и веди ко мне индюха, и теля, и подсвинка—бог даст, я за тебя постараюся. А все расходы на твой счет.

Поп повеселел. Что уж там расходы! И стал он просить отца, чтобы только при-

помнил и рассказал ему: что такое архиерей особенно уважал в прежней жизни?

А отец его попихнул рукою в брюхо и говорит:

— Эге! Поди ка ты шельма какой! Так я тебе это и скажу! Мало ли что мы тогда с ним любили в оные молодецкие годы, так ведь в теперешнем его звании не все то и годится.

— Ну, а в пищепитании?

— В пищепитании он, как и вообще духовные, выше всего обожал зажаренную поросячью шкурку, но и сей вкус, без сомнения, он ныне был должен оставить. А ты не будь-ка ленив да слетай в город и разузнай о нынешнем его расположении от костыльника.

Поп Маркел живо слетал и, возвратясь, сказал: „ныне владыка всему предпочитает уху из разгневанного налима". И для того сейчас же положили разыскать и приобресть налима и привезть его живого и, повязав его дратвою за жабры, пустить его гулять в пруд, и так воспитывать, пока владыка приедет, и тогда налима вытащить на сушу и принесть его в корыте и огорчать его постепенно розгами; а когда он рассердится как нельзя более и печень ему вспухнет, тогда убить его и изварить уху.

Архиерею же папаша написал письмо на большом листе, но с небольшою вежливостью, потому что такой уже у него был военный характер. Прописано было в коротком шутливом тоне приветствие и приглашение, что, когда он приедет к нам в Перегуды, то чтобы не позабыл, что тут живет его старый камрад, „с которым их в одной степени в бурсе пáлями бито и за виски драно“. А в закончении письма стояла просьба: „не пренебречь нашим хлебом-солью и заезжать к нам кушать уху из печеней разгневанного налима“.

Но,—пожалуйте,—какие же из этого последовали последствия!

VII.

Доставить отцово письмо в дом ко владыке покусился сам поп Маркел, ибо в тогдашние времена по почте писать к особам считалось невежливо, а притом поп желал разузнать еще что-либо полезное, и точно,—когда он вернулся, то привез премного назидательного. Удивительно, что он там в короткое время успел повидаться со многими лицами архиерейского штата, и многих из них сумел угостить и, угощая, все расспрашивал об архиерее и вывел, что он

человек высокопросвещенного ума, но весьма оляповатый, что вполне подтверждалось и его ответом, который похож был на резолюцию и был надписан на собственном отцовом письме, а все содержание надписи было такое: „Изрядно: готовься—приеду“.

Тогда началась чудосия, ибо гордый своим майорством отец мой отнюдь не был доволен этою оляпкою и сейсас же пустил при всех на воздух казацкое слово и надписал на письме: „Не буду готовиться—не езди“, и послал лист назад, даже незапечатанный; но архиерей по доброте и благоразумию действительно был достоин своего великолепия, ибо он ни за что не рассердился, а в свою очередь оборотил письмо с новым надписанием: „Не ожесточайся! Сказал, буду—и буду“.

Тут папаша,—пожалуйте,—даже растрогался и, хлопнув письмом по столу, воскликнул:

— Сто чертей с дьволом! Ей-богу, он еще славный малый!

И отец велел маменьке подать себе большой крелих вина и, выпив, сказал: „се за доброго товарища!“, и потом сказал матери приуготовлять сливные смоквы, а попу Маркел наказал добывать налима. И все сие во благовремение было исполнено. Отец

Маркел привез в бочке весьма превеликую рыбу, которую они только за помощью станового насилу отняли у жида, ожидавшего к себе благословенного цадика, и как только к нам оная рыба была доставлена, то сейчас же повелено было прислуживавшей у нас бабе Сидонии, щобы она спряла из овечьей волны крепкую шворку, и потом отец Маркел и мой родитель привязали сю налима под жабры и пустили его плавать в чистый ставок; а другой конец шворки привязали к надбережной вербе и сказали людям, чтобы сией рыбы никто красть не осмеливался, ибо она уже посвященая и „дожидается архиерея". И что бы вы еще к тому вздумали: як все на то отвечали?

А отвечали вот как:

— „О, боже с ней! Кто же ее станет красти!" А меж тем взяли и украли... И когда еще украли-то?— под самый тот день, когда архиерей предначертал вступить к нам в Перегуды. Ой, да и что же было переполоху-то! Ой, ой, мой господи! И теперь, как об этом вспомнишь, то будто мурашки по тилу забигают... Ей-богу!

А вот вы же сейчас увидите, как при всем этом затруднении обошлись, и что от того в рассуждении меня вышло.

VIII.

Преудивительная история с покражей налима обнаружилась так, что хотели его вытягти, щоб уже начать огорчать его розгами, аж вдруг шворка, на которой он ходил, так пуста и телепнулась, бо она оказалась оборванною, и ни по чему нельзя было узнать, кто украл налима, потому что у нас насчет этого были преловкие хлопцы, которые в рассуждении с'естного были воры превосходнейшие и самого Бога мало боялись, а не только архиерея. Но поелику времени до приготовления угощения оставалось уже очень мало, то следствие и розыск о виновных в злодейском похищении оной наисмачнейшей рыбы были оставлены, а сейчас же в пруд был закинут невод, и оным, по счастию, извлечена довольно великая щука, которую родителями моими и предположено было изготовить „по-жидовски" с шафраном и изюмом;—ибо, по воспоминаниям отца моего, архиерей ранее любил тоже и это.

Но что было неожиданностью, это то, что по осмотре церкви архиереем его немедленно запросил до себя откушать другой наш помещик Финогей Иванович, которого

отец мой весьма не любил за его наглости, и он тут вскочил в церкви на солею, враг его ведает, в каком-то не присвоенном ему мундире и, схопив владыку за благословенную десницу, возгласил как бы от Писания: „Жив Господь и жива душа твоя, аще оставлю тебя“. И так смело держал и влек за собою архиерея, что тот ему сказал: „Да отойди ты прочь от меня! чего причипився!“ и затем еще якось его пугнул, но однако поехал к нему обедать, а наш обед, хотя и без налима, но хорошо изготовленный, оставался в пренебрежении, и отец за это страшно рассвирепел и послал в дом к Финогею Ивановичу спросить архиерея: что это значит? А архиерей ответил: „пусть ожидает“.

И, пообедав у Финогея Ивановича, владыка вышел садиться, но поехал опять не до нас, а до Алены Яковлевны, которая тож на него прихопилася, як банная листва, а когда отец и туда послал хлопца узнать, что архирей там делает, то хлопец сказал, что он знов сел обедать, и тогда это показалось отцу за такое бесчинство, что он крикнул хлопцам:

— Смотрите у меня: не смийте пущать его ко мне в дом, если он под‘едет!

А сам, дабы прохладить свои чувства, велел одному хлопцу взять простыню и по-

шел на пруд купаться. И нарочито стал раздеваться прямо перед домком Алены Яковлевны, где тогда на балкончике сидели архиерей и три дамы и уже кофей пили. И архиерей, как увидал моего рослого отца, так и сказал:

— Как вы ни прикидайтеся, будто ничего не видите, но я сему не верю: этого невозможно не видеть. Нет, лучше аз восстану и пойду, чтобы его пристыдить.—И сразу схопился, надел клобук и поехал к нам в об‘езд пруда. А с балкона Алены Яковлевны показывая, дивчата кричали нам: „Скорей одягайтесь, пане! До вас хорхирей едет!“ А отец и усом не вел и нимало не думал поспешать, а, будучи весь в воде, даже как будто с усмешкою глядел на архиерейскую карету. Архиерей же, проезжая мимо его, внезапно остановился и высел из кареты и прямо пошел к отцу и превесело ему крикнул:

— Що ты это телешом светишь! Или к тобе совсим сорому нэма? Старый бесстыдник!

А отец отвечал:

— Хорошо, що в тебе стыд есть! Где обедал?

Тогда архиерей еще проще спросил:

— Да чего ты дурень, бунтуешься?

А отец ответил:

— От такового ж слышу!

Тогда архиерей усмехнувся и сел на скамейку и сказал:

— Еще ли, грубиян, будешь злиться? Соблюди при невеждах приличие!—И с сими словами рыгнул и, обратив глаза на собиравшиеся вокруг солнца красные облака, произнес по-латыни:—Si circa occidentem rubescunt nubes, serenitatem futuri diei spondent. Это имеет для меня значение, ибо я должен с'есть, по обещанию, еще у тебя обед и поспешать на завтрашний день освящать кучу камней. Выходи уже на сушу и пошли, чтоб изготовляли скорее твоего налима, которым столь много хвалился.

Услыхав это язвительное слово о налиме, отец рассмеялся и отвечал, что налима уже нет.

— Пока ты по-латыни собирался, добры люди божьи по-русски его украли.

— Ну и на здоровье им!—отвечал архиерей,—я уже много чего ел, а они, может-быть, еще и голодны. Мы с тобой вспомним старину и чем попало усовершим свое животное благоволение. Не то важно, что с'ешь, а то—с кем ешь!

Услыхав, что он хорошо говорит и что опять согласен еще раз обедать, отец ско-

ро из воды выскочил, и потекли оба с прекраснейшим миром, который еще более установился оттого, что архиерей все снова ел, что перед ним поставляли, и между прочим весело шутил с отцом, вспоминая о разных веселящих предметах, как-то о киевских пирогах в Катковском трактире и о поросячьей шкурке, а потом отец, может-быть, чрез принятое в некотором излишестве питье, спросил вопрос щекотливого свойства: „для чего, мол, ты о невинных удовольствиях, в миру бывших, столь прямодушно вспоминаешь, а сам миром пренебрег и сей черный ушат на голову надел?“

А той и на сие не осердился и отвечал:

— Оставь уже это, миляга, и не сгадывай. Что проку говорить о невозвратном, но и то скажу — о мирской жизни не сожалею, ибо она полна суеты и, все равно, как и наша — удалена от священной тишноты философии; но зато в нашем звании по крайней мере хоть звезды на перси легостнее ниспадают.

— Это-то правда,—сказал отец,—но зато нет от вас племени,—и затем пошол говорить, как он видал у грецких монахов, где есть „геронтесы“, и как оне, сии геронтесы, иногда даже туфлей бьют...

Но тут следившая за разговором мать моя со смущением сказала:

— Ах, ваше преосвященство!.. Да разумеется все так самое лучшее, как вы говорите!.. А потом обернулась к отцу и ему сказала:—А вы, душко мое, свое правоученье оставьте, ибо писано же, что „и имущие жены пусть живут как неимущие“.. Кто же что-нибудь может против того и сказать, что як звезды на перси вам ниспадают, то это так им и слид ниспадать и по закону и по Писанию. А вы моего мужа не слушайте, а успокойте меня, в чем я вас духовно просить имею о Господе!

Отец сказал:

— И верно это, душко мое, у вас какая-нибудь глупость!

А мать отвечала:

— А напротив, душко мое, это не глупость, а совершенно то, что для всех надо знать, ибо это везде может случиться. И сразу затем она рассказала архиерею, что у нее „есть в сумлении“, а было это то, что когда перед прошлою Пасхою обметали пыль с потолков, а наипаче в углах, то в гостинечной комнатке упал образ Всемилостивейшего Спаса, и вот это теперь лежит у нее на душе, и она всего боится и не знает, как надлежит к сему относиться.

Архиерей же выслушал ее терпеливо и немножко подумал, а потом сказал „с конца“:

— На дискурс ваш отвечу сначала с конца, как об этом есть предложенное негде в книгах исторических: поверье об упавшей иконе идет из Рима, со времен язычества, и известно с того случая, как перед погибелью Нерона лары упали во время жертвоприношения. Это примечание языческое, и христианам верить сему недостойно. А что в рассуждении причины бывшего у вас падения; то советую вам каждого года хотя однажды пересматривать матузочки или веревочки, на коих повешены висящие предметы, да прислуга бы, обметая, чтобы не била их сильно щеткою. И тогда падать не будут. Расскажите это каждому.

Матерь мою это еще больше смутило, ибо она была очень сильно верующая и непременно хотела, чтобы все ее суеверия были от всех почитаемы за самосвятейшую истину. Так уже, знаете, звычайно на свити, що все жинки во всяком звании любят посчитывать за веру все свои глупости. И архиерей понимал, как неудобна с ними трактация, и для того прямо из языческого Рима вдруг перенесся к домашнему хозяйству и спросил: „умеете ли вы заготовлять в зиму пурмидоры?“ А переговорив о сем, перекинулся на меня, и вот это его ужаснейшее внимание возымело наиважнейшие следст-

вия для моей судьбы. Говорю так для того, что, если бы не было воспоминаемого падения иконы, то и разговора о ней не было бы, и не произошли бы наступающие неожиданные последствия.

IX.

Быв по натуре своей одновременно богослов и реалист, архиерей созерцаний не обожал и не любил, чтобы прочие люди заносились в умственность, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные надобности. Так и тут: малые достатки отца моего не избежали, очевидно, его наблюдательного взора, и он сказал:

— А що, collega, ты, как мне кажется, должно-быть, не забогател?

А отец отвечает:

— Где там у чорта разбогател! На трудовые гроши годовой псалтыри не закажешь.

-- То-то и есть, а пока до псалтыри тебе, я думаю, и детей очень трудно воспитывать?

Отец же отвечал, что тем только и хорошо, что у него детей не много, а всего один сын.

— Ну и сего одного надо в люди вывести. Учить его надо.

А когда услыхал, что я уже отучился у дьячка, то спросил у меня: что было в Скинии свидения? На что я ответил, что там были скрижи, жезл Аваронов и чаша с манной кашей. И архиерей смеялся и сказал:

— Не робей: ты больше знаешь, как институтская директриса, — и притом рассказал еще, что, когда он в институте спросил у барышень: „какой член символа веры начинается с „чаю“, то ни одна не могла отвечать, а директриса сказала; „оне под ряд знают, а на куплеты делить не могут“.

И опять все смеялись, а маменька сказали: „и я не знаю, где там о чае“. А когда архиерей узнал, что я имею приятный голос, велел мне что-нибудь запеть — какой-нибуть тропарь или песню, а я запел ему очень глупый стих:

Сею-вею, сею-вею,
Пишу просьбу архирею!
Архирей мой, архирей,
Давай денег поскорей!

Родители мои очень сконфузились, что я именно это запел; а я, наоборот, потому запел, что я эту песню занял петь от моего учителя—дьячка; но архиерей ничего того не дознавал, а только еще веселей рассмеялся и, похвалив мой голос, сказал:

Оставьте укорять дитя. Мне решительно его поза рожи очень нравится, и я полюбил его за его невинность; а вы мне скажите лучше: куда вы его думаете предопределить?

Отец отвечал:

— Э! куда спешить! Пусть он еще подрастет, а потом я покорюсь Дмитрию Афанасьевичу и попрошу у него письма, чтобы приняли хлопца в порубежную стражу: там нажить можно.

Но архиерей отвечал:

— Укрый тебя Господи! Еще что за удовольствие определять сына в ловитчики! Почитай-ка, что о них в книге Еноха написано: „Се стражи адовные, стоящие яко аспиды: очеса их яко свещи потухлы и зубы их обнажены". Неужели ты хочешь дать сию славу племени своему! Нет, да не будет так. А дабы не напрасно было мое сожаление, то опять повторю: мне его поза рожи нравится и я предлагаю вам взять сего вашего сына к себе для пополнения певчего хора. Чего вам еще лучше?

А при чем еще он обещал одевать меня и обувать, и содержать и обучить всем наукам на особый сокращенный манер, „как принца", ибо на такой же сокращенный манер тогда с малолетними певчими проходил особый

инспектор. Маменька этого не поняли, но отец понял, и когда матери истолковал, то и ей понравилось, а главное к тому еще ее прельстило, что архиерей пообещал посвятить меня в стихари, после чего я непременно буду участвовать в церемониях. Это уже столь весьма обольстительно сделалось в фантазии маменьки, что оне даже заплакали от счастия видеть меня в облачении в парчевом стихаре, наверно воображая меня уже малым чем умаленного от ангел и в приближении к наивысшему небу, откуда уже буду мочь кое-что и сродственникам своим скопнуть на землю. И потому, когда отец еще думал, мать первая уже согласилась отдать меня в посвящение, но отец и тогда еще колебался. И тогда архиерей сказал ему:

— Поверь мне, что духовная часть всех лучше, и нет на свете счастливейших, как те, что заняли духовные должности, потому что, находятся ли люди в горе или в радости, духовные все себе от них кое-что собирают. Будь умен, не избегай сего для сына, ибо Россия еще такова, что долго из сего круговращения не выступит.—Но отец все-таки и тут хотел на своем поставить и сказал:

— А где же возьмется поколение стражей?

Архиерей отвечал:

— Тебе что за дело! И проговорил опять от Еноха: „Видех аз стражи стоящие яко аспиды, и очеса их яко свещи потухлы, и зубы их обнажены". Сравни же теперь, то ли дело житие духовное, где исполняется всякое животное благоволение... А я ж твое дитя на то и поведу мирно от чести в честь, и, какие хотишь, те я ему и дам должности! Я его сделаю и книгоносцем, сделаю его и свещником, и за посошника его поставлю, и будет он светить на виду у всех особ, среди храма, а не то что порубежный или пограничный сторож!..

Тут уже и отец не выдержал, а матушка вскинула вверх руки и воскликнула:

— Ой, Боже мий! Боже мий милий! И откуда мне сие, и доживу ль я до этого! Не говорите уже ничего больше, ваше преосвященство, бо я и так уже чувствую, какая я изо всех матерей богоизбранная и превознесенная. Берите моего сына: я желаю, щобы було так, как вы говорите,—щобы он перед всеми посередь дни свечою стоял и светил! Да пусть подержит уже и ту книгу, которую вы читаете! Що вам!.. Ведь можно?

Архиерей улыбнулся и сказал:

— Можно!

А мати поддержала:

— Я знаю, говорит, что на сем свете все можно, и сейчас пойду и ему белье соберу, чтобы он с богом разом с вами ехал.—А потом погнулась до отца и чуба ему поправила и сказала: — А вы уже, душко мое, не спортеся.

Отец отвечал:

— Да ладно!

И с тим она схопилась и побигла снаряжать меня, а отец вслед ей сказал:

— Ишь, яке в жинках огромное самолюбие обретается! Того она и не спытала, що, може бы, дитя схотело лучше итти в судовые панычи, и бог даст, может-быть, когданибудь еще вышло б на станового.

Станового же должность отцу моему нравилась, потому что, знаете, он и сечет и с саблюкой ездит, и все у него как бы подобно до полкового.

А архиерей отвечал:

— Что ж такого: если твой сын захочет быть светским, то и это мне не будет трудно: я попрошу вице-губернатора, и его запишут в приказные, а потом он может и на станового выйти. Так он даже может быть и стражем и далее может сам произвести поколение стражей, а все не то, что пограничники, ибо становой злодиев и конокрадов преследует. Это необходимость.

Это помирило все подозрения моего отца, который все-таки не ожидал такого обширного доброжелательства со стороны владыки, и, не зная, что ему на это ответить, вдруг бросился ему на перси, а той простер свои богоучрежденные руки, и они обнялись и смешали друг с другом свои радостные слезы, а я же, злосчастный, о котором все условили, прокрался тихо из дверей и, изшед в сени, спрятался в темном угле и, обняв любимого пса Горилку, циловал его морду, а сам плакался горько.

X.

Но, как говорится, Москва слезам не верит, то и я со своими слезами не помог себе, и по сем враз же мне повелено было принять благословение у родителей и ехать в город вместе с самим владыкою или наипаче сказать, не с ним, а с его помошником, сидевшим в подвесной будке за архиерейской каретой.

Так-то налим отвязался и ушел, или был скраден злыми соседями, а я вместо него попался на шворку, и затем о преподобном попе Маркеле и о его процентных операциях никакого разговора, сдается мне, у отца моего с архиереем совсем не было, а

для меня с сей поры кончилось время счастливого и беззаботного детства, и началось новое житье при архиерейском доме, где я получил воспитание и образование по сокращенному методу, на манер принца, и участвовал в наипышнейших священнодействиях, занимая самыя привлекающие внимание должности. И на сем месте обозначается естественный перелом в моем житии, ибо до сей поры я созревал в домашнем своем положении, какое получил по рождению своему в моем семействе, а отсюда уже начинается умственное и нравственное мое развитие, составляющее как бы вторую часть моей биографии, впоследствии еще подразделяемую и на третие.

XI.

Архиерей, как вначале показал себя очень простым и добрым человеком, так вообще и далее таков же оставался и очень не малой любви заслуживал. Правда, что иные находили в нем как бы не весьма много духовности, но зато он был превеликий любитель миролюбия и хозяйства и столько был в это вникателен и опытен, что с приходящими просителями всего охотнее говорил о произрастениях из полей и скотовод-

стве, и многие советы его были удивительны. Так, например, жителям местности, где воспитывают свиней, он подал совет: как можно в точности узнавать толщу сала, покалывая живую свинку в спину шилом, отчего она только мало визжать будет; а в другой раз рассказал всем страдавшим от покражи птицы: какое удивительно хитрое средство употребляют цыганы, ворующие гусей так, чтобы птицы не кричали, и чего вообще от цыган остерегаться должно. Знал он также и многие другие вещи, о которых невежды сочиняют суетная и ложная к поддержанию языческих суеверий. Итак, когда купили для него корову, чтобы он мог иметь к чаю свои сливки, и та корова почала громко рычать, то эконом и иже с ним бывшие полагали, что надо корову переменить, ибо она цветом шерсти не ко двору; но владыка улыбнулся и сначала сказал полатыни:

— Т deorum hominuque tyranne Amore!, то-есть: О ты, Амур, тиран богов и людей! — А после продолжил по-русски: — Не стыдно ли вам верить в такие пустяки! Или вы, обязанные другим людям из'яснять темноты их непонимания, — сами еще не разумеете, что, когда рогатая скотина рычит, то вернее всего для того, что мечтает иметь свидание с быком? И для удостоверения в

этом приказал послать корову к дьякону, содержавшему у себя племенного быка, и как корова оттуда возвратилась вполне жизнью довольная, то оказалось, что владыка был против всех суеверов прозорливее. Но это иначе и быть не могло, потому что был это человек огромных дарований и престрашной учености до того, что даже с Сковородою во мнениях сходился и, на все замечания о тех або иных улучшениях по его части, говорил: „Верти не верти, а треба пролагать путь посреде высыпанных курганов буйного неверия и подлых болоть рабострастного суеверия“, а сие, если помните, изречение оного вечнопамятного Григория Варсовы Сковороды. И видел он это так свитло, что смиялся тем, которые в чужие краи ездят да вновь с тем же умом возвращаются, и „очами бочут, а устами гогочут, и красуются як обизьяны, а изменяются як луна, а беспокоятся як сатана. Кто слеп дома, тот и в гостях ничего не увидит“. А он и дома у себя в монастырьке сидел да все понимал и знал: и Платона, и Цицерона, и Тацита, и Плавта, и Сенеку, и Теренция, и иных многих, да, боже мой, и еще чего он только не знал и чего не читал, и многому, может-быть, и меня хотел научить, но не мог по всего совместимости. Ей-богу! Ей-богу! Вы,

небось, не поверите. а это, ей-богу, настоящая правда - не мог! Я такое счастье имел, что, как он сказал, что ему поза рожи моей нравится, то и действительно он меня, как отец, жалел и регенту бить меня камертоном по голове не дозволял и содержал меня как сына своего приятеля, гораздо нежнейше от прочих, а как я очень был ласков и умильно пел, то кроме того сделалось так, что я стал вхож в вице-губернаторский дом, к супруге и дочке сего сановника, для совсем особливого дела, о котором тоже узнаете. Но ученость у нас в хоре шла плохо и не могла быть лучшею, потому всем премудростям мы, певчие, должны были научиться в кратчайшее время и специально от одного лица, который был нашим научителем, но именовался для чего-то „инспектором". Был это человек в своем роде тоже достопримечательный, и именовался он ранее Евграф Семенович Овечкин, но впоследствии он свою фамилию изменил для того, что на него пало подозрение в приспешении якобы смерти своей жены, после чего ему даже и священнодействие было воспрещено, и он сложил сан и вышел в светское звание. Тогда же пошив себе прегромадный жилет с кожаными карманами, он насыпал в эти карманы нюхательного табаку и нюхал

его без табакерки, прямо зачерпывая из кармана и поднося к носу всеми пятью перстами, ибо так делали будто дьяки, которым он желал подражать, заставляя, чтобы все боялись его ябеды. И что владыка такого человека держал, то, — пожалуйте,—осуждать невозможно, ибо то был негодяй паче нежели Регул, а того еже в Риме все опасались за его набожность и склонность к доносам. Он же и ранее все доносил, когда был в училище смотрителем, и тогда ожесточительно сек, как никто другой, но знал превосходно способ успешного ведения приказных дел, что было очень потребно в сношенях по письменной части, и для того владыка им дорожил и имел его за инспектора для образования певчих. „А дабы не поминались прежние оного лютости, то изменена была ему самая его фамилия, а именно, на место прежняго наименования „Овечкин" стал он называться „Вековечкин". И так все его грубые деяния сокрылись через отмену несоответственного этому волку овечьего прозвища. Но надо же вам знать и то: чему он нас обучал?.. Поистине это прелюбопытнейше! Почитался он, как богослов, вероятно, только за то, что знал наизусть все решительно праздники и каноны всем праздникам, и для обучения нас имел

тетради, из коих извлекал познания, в которых бы, думаю, и сам Феофан Прокопович бы, пожалуй, не много утямив. Так, например, „благослови Господи, благости твоея боже“, — в самую первую голову для насаждения и неколебимости веры давал нам заучать: „Не сумнися о вере, человече! Не един бо есть, и не десять, и не сто свидетелей о вере, но бесчисленно народу“. Понимаете, нет тут никакого-либо умственного разглагольствия о каковых-либо сужденьях или мненьях, а, прямо сказать, все основано на свидетельских показаниях. Да, а зато выведено было так, что попробуй-ка кто усумниться! „Первие убо свидетели суть пророки, —сии сами вероваша и нам предаша“... Пожалуйте, кто имеет отвагу возражать против сих свидетелей! А далее: „вторая свидетелие: апостолы: сии ядоша и пиша с создателем всяческих“... Тоже опровергните, пожалуйте! И так все далей и далей, гонит стезю аж вплотную до святых вселенских соборов и отцов, и аввы Дорофея, и исчисления их: „На одном точию 418 святых было“... Не угодно ли! А сколько на всех было истинных святых? Вот, ручаюсь вам, изберите теперь любого из нынешних академистов и спросите: „сколько було?“, так иной и сам инспектор не ответит, или возь-

мет да сбрешет; а наш Вековечкин все это знал вразнобивку на память по месяцам и нам предал это так, что я о сию пору хоть патриарху могу ответить, что „в сентябре 1100 святых, а в октябре 2543, а в ноябре аж 6500, а в декабре еще больше — 14.400; а в генваре уж даже 70.400; а в феврале убывает,—всего 1072, а в марте даже 535, а в июне всего 130, но в общей-то сложности: представьте же, какая убежденность, или что можно подумать против таковой области таковых-то свидетелей! А потом, кроме сих на свидетельстве основанных доказательств, начинаются наиточнейшие справки в днях и часах, когда что случилося, и опять: „устыдися, человече, и убойся!“ Удивляются многие Карамзину на то, что где он там что пооткопал и повыписывал; да еще и бог знает, все ли то правда, или неправда, про что он рассказывает; а у нашего инспектора Вековечкина твердо было обозначено, что пресвятая богородица родилась в лето 5486 г., а благовещение бысть в лето 5500, в неделю, в десятый час дня, в двенадцать лет и в семь месяцев ее возраста. Родися господь в лето от создания 5550-е, в седьмый час нощи. И так все до малости, как начинает проводить, то не токмо о сих, но и о меньших все вспомнит: „вспомяни, душе моя, того и оного:

вспомяни Моисея онаго, иже прикова себя на цепь аки бы скот бессловесный; вспомяни Анастасия, ему же нозе его бяху, аки сухо древо до пояса; Дмитрия, иже ядяше едину воду, и Александра, иже ядох едину шерсть, или Семиона, от него же вси гади расползашеся"... Всю-всюсеньку историю, что было на земле, знал и даже прозирал на воздушные и мог преподать, откуда кая страсть в человеке, и кто ею борится: „против бо веры борятся маловерие и сомнение, а держит их бес сомненный; против любви— гнев и злопомнение, а держит их бес гневливый; против милосердия — бес жестокосердый; против девства и чистоты—бес блудный". И так далее, и „в коем уде кий бес живет, где пребывает и как страсть воздвизает", и „как оные духи входят овогда чувственне некако", а овогда же входят и исходят чувственнее некако„ и „како противу им человеку подобает нудитеся"... И все эти науки мы превзошли и знания получили; но кроме того владыка и сам меня призывал и почасту учил меня по-латыни, и я—право, такой понятный хлопец был, что мы не только какого-нибудь там Корнелия Непота переводили, а еще, бывало, сам он читал мне свои переводы, которые делал из Овидия!.. Э! Вот если бы вы это послушали, так вы и уви-

дали бы, что это уже не Овечке чета, и ужаснулись бы, что настоящая поэзия с человеком делает! Особенно про стада: „Чем заслужили смерть мирные стада, рожденные для поддержания жизни людей; вы, которые даете нам сладкий нектар, одеваете нас своею шерстью и приносите жизнью больше пользы, нежели смертью? Чем виноват бык (Замечайте сие про быка, сколь нежно!)... Чем виноват бык, животное, чуждое обмана и хитрости (о, пресвятая и великая правда!) — животное простое, рожденное покорно переносить труды? Поистине неблагодарен и недостоин пожать плоды своего поля тот, кто, сняв ярмо плуга со своего пахаря, решился зарезать его... кто ножом поразил шею, потертую трудом, обновлявшим жестокую почву... (Не осуждайте, що плачу!) Откуда у человека желание к сей запретной пище? Как вы осмеливаетесь питаться другом вашим быком, смертные люди? Остановитесь, бегите кровавых пиршеств, за которыми вы пожираете своих кормильцев“...

Оноприй Опанасович Перегуд на этом кончил на память цитату из Овидия и минуты две жалостно вздыхал о быке, а потом прибавлял, что всякий раз, когда он „молодший был“ и архиерей ему, бывало, читал это из Овидия, то он несколько дней

совсем не мог есть ничего мясного, окромя как в колбасах, где ничего не видно, но потом над этим язычеством смеялись, и оно в нем „по-малу сходило“, и опять наставал обычный порядок учения и жизни.

— Из этой стороны, продолжал облегченный слезами рассказчик, — примечательнее всего было то, как я учился всему по облегченному способу у Вековечкина, то это делалось по его тетрадкам, но ответы не спрашивались, потому что нам уроки учить было некогда. О богословии и церковной истории я вам уже представил, а по гражданской истории всему были выводы еще более в ужаснейшей кратости. Так, например, после я видал, что во многих весьма книжках по нескольку даже страниц упоминают о французской революции, а у нас о ней все было изражено семь строчек в такой способ, что я о сю пору весь артикул наизусть помню. „Сие ужаснейшее и вечного проклятия достойное наипозорнейшее событие вовсе недостойно внимания, но, совершенное на основании бессмысленных и разрушительных требований либертите и егалите, оно окончилось уничтожением заслуг и смертью короля французского на эшафоте, после чего Франция была об‘явлена республикою; а Париж был взят и возвращен французам

только по великодушию победителей. С той поры значение Франции ничтожно". А однако, хотя это и кратко изложено, но все-таки, знаете, зародило понятие о том, что это было що-сь такое, як бы то „не по носу табак", и когда я впоследствии, бывши у вице-губернаторши, услыхал о представлении казней согласно наставленью поэта Жуковского, то мне уже прелюбопытно было слушать, как те отчаянные французы чего наработали!

— Знаете, собрали все-таки шайку самых головорезов и запели себе мартальезу, и вот тебе на! — пошли и под преужаснейшие слова „Алон анфан де ля патрие" раскидали собственноручно свою собственную самоужаснейшую крепость Бастиль! Ну, подите же с ними! Да еще и убивали верноподданных слуг королевских, а злодеев спустили с тягчайших цепов, которые их сдерживали, прямо на волю. Вековечкин французов иначе и не называл, как „проклятые", но владыка смягчал это и в согласии с Фонвизиным говорил, что довольно просто внушать, что „по природе своей сей народ весьма скотиноват и легко зазевывается". Ну-с, а я так замечал, что я веду речь не по порядку, ибо говорю о казни по наставлению Жуковского, для чего еще не настала оче-

редь, и это придет в своем месте впоследствии. Теперь же знову здорово повернемся к порядку.

XII.

И полугода не прошло, как исторгли меня из об'ятий матери, и я знал уже все самомельчайшие порядки торжественных служб, и так хорошо все потрафлял, что даже вовсе не требовал, чтобы меня, как всех прочих, руководил протодьякон. А достиг я этого единственно тем, что сам изучил наизуст все тридцать девять пунктов поклонения перед владыкой за литургией и как „Отче наш", знал, когда надо поклониться за один раз по разу и когда по трижды. И меня тотчас посвятили в стихарь и научили, как в нем ходить, тихо опустив очи раз — оце, и руки смирно, а позу рожи горе.

И отсель я начал свое духовное делание, о котором исчислю все по порядку: был я сначала исполатчиком, но скоро вышел такой случай, что я спал с голоса, и стал послушником. Отчего я спал с голоса это восходит к представлению казни по наставлению Жуковского, но об этом скажу особо, о службе же посошником изложу здесь. По этой должности долг мой был

в том, чтобы метать под ноги и отнимать из-под ног орлецы. Это, я вам скажу, докучательная, но тоже и осмотрительная комиссия, ибо, того и гляди, что очень можно попутаться и всю кадриль испортить. А потом я носил рипиды и был книгодержцем и свещеносцем, и в этой должности опять никто лучше меня не умел уложить на поднос священные предметы, как то необходимо впоследствии, дабы вверх всего мантию, а на мантию рясу, а на рясу клобук, а на клобуке четки, а на другом блюде митру, а по сторонам ея панагию и крест, а на верху митры ордена и звезды, а позади их гребенку „на браду, браду его"... Как-же-с! В такой младости, а я уже тогда познал все ордена не хуже, как какой-нибудь врожденный принц, и все постигал, какое из них у одного перед другим преимущество чести, и потому какой орден после которого следует возлагать, и тот, который надевается ниже, я тот уже и полагал на блюде сверху, а который надевается после, тот ниже. Вам, может-быть, кажется, что все это не есть наука, но я однако и это все изучил, и всегда имел при себе, — как в руководственной книжке показано,- как-то на всякий случай и иголки и шелк, и нитки, и булавки, и ножницы, и шнурки, потому

что все это при сложности облачения вдруг может потребоваться. И архиерей видел все эти мои аккуратности и несколько раз благостно меня уговаривал или принять ангельский чин или жениться и итти в белое духовенство, но я, — вообразите,—не захотел ни того ни другого, и, не совсем приятно сказать, — от какого престранного случая, в котором очень даже стыдно и сознаться. Представьте себе, что я влюбился, да и в кого еще? В двух разом, из которых одна была вице-губернаторская дочь! Совершенно как у Гоголя. А интересно же знать: как я на это дерзнул и по какому случаю? Случай был тот, что вице-губернаторша была самонежнейшей институтской души и окончила с шифром и говорила однажды с Жуковским, который ее обласкал и утешил по поводу бедственного окончания судьбы ее брата, и она успокоилась и полюбила читать его сочинения о том, как надо казнить православных христиан так, чтобы это выходило не грубо, а для всех поучительно, и им самим легко и душеполезно. Желал Жуковский, чтобы казнь в России происходила не так как у иностранцев, а без всякого свирепства и обиды, а „как спасающий порядок, установленный самим Богом“. И, Боже мой милый, как это все хорошо у

него расписано, чтобы делать это „таинство“ при особой церкви, которую он велит выстроить на особый манер за высокой стеной, и там казнить при самом умилительном пении, и чтоб тут при казни были только одни самые избранники, а народ бы весь стоял на коленях вокруг за стеною и слушал бы пение, а как пение утихнет, так чтобы и шел бы к домам, понимая, что „таинство кончилось“. И вице-губернаторше все хотелось, чтобы у нас такую церковь поскорее выстроить, и пусть она стоит в ограждении стеной, пока случай придет сделать „таинство“, и она начала собирать на то деньги, а от нетерпения делала примеры таинства у себя в покоях, при чем ее четырнадцатилетняя дочь парила над осужденными в виде ангела, а я, сокрытый ея хитоном пел сочиненные Рековечкиным песнопения. Думали, что в сем я и голос свой надорвал, но это вышло не от того; а было так, что я влюбился одновременно и в ангела и в осужденницу, которую представляла из себя по господскому приказанию очень молодая и красивая горничная — девушка с вьющимися волосами и глазами такими пылкими, як у дьявола... По правде сказать, это она всех больше и была причиною тому, что я спал с голоса, ибо я

сначала научился ее обнимать и прижимать до сердца, а потом очень долго ходил дожидать ее под воротами, когда ее пошлют за сухарями... Все, знаете, глупая наша молодость, когда поешь гласом ангела, а в черта влюбишься. Ну да дал Бог исполнилось так однако, что и это мне не повредило, а вышло что-то доброе, ибо в это же время, как мы разыгрывали таинство казни, отец мой умер, а маменька, вероятно, уже довольно насладилась тем, что видела меня в торжественных служениях, и вдруг от неизвестной причины переменила свое расположение и начала говорить: „Будет уже тебе дьячковать! Видела я уже все это, как ты ходишь оце-разоце, и позу рожи горе! Будет уже того, с нашей доли для Господа Бога довольно, а теперь иди до дому и покой мою старость“.

Тогда архиерей, как ранее обещал, попросил обо мне вице-губернатора, который задумал стараться о разводе с оной учредительницей казни, и он меня сейчас записал в приказные, а через несколько дней позвал меня к себе в присутствие и приказал итти и доложить владыке, что я назначаюсь прямесенько к нам в Перегуды за станового. А как в те времена у нас было превеличайшее конокрадство, то он еще добавил, что

полагается на меня, что я всю эту пакость уничтожу и выведу, тогда как я, знаете, ничего ни в яких познаниях не тямлю и по своему особенному образованию могу только орлецы пометать.

От этого, услыхав о такой милости и твердом на меня уповании, я было-хотел отказаться от места, но, зная удивительный в практике разум владыки, побежал к нему и, пав пред ним в ноги, все рассказал ему и стал просить у него совета. Он же, выслухав меня, добре сказал:

— Прежде всего встани с колен, ибо ты теперь уже мне неподведомый, а потом вот тебе мой совет: никогда от хорошего места не отказывайся, а принимай всякое, ибо надлежит то знать, что и другие также заступают в должность и не по знанию и не по способности. Даже вот и мы, архиереи,— откровенно скажу,—хотя мы и всенепременно отказываемся, но это только обычай, ибо все же потом и „приемлем и ничесо же вопреки глаголем“. В этом покорность. А в рассуждении того, как править, для чего смущаться? Мы сейчас призовем Вековечкина: он такой миляга, что на все наставит.

И когда Вековечкин пришел и, в чем дело, выслушал, то сначала не хотел говорить, но

потом, получив от архиерея серебряный рубль, зацепил из жилетного кармана целую пятерню табаку и, вытянув ее в свой престрашный нос, заговорил так:

— Если ты будешь поступать со злодеями по законам гражданским, то будешь дурень, ибо это не годится, потому что злодеи не суть граждане, а враги гражданства, так как они воюют на общество!.. А ты держися против них закона духовного,

Тогда владыка спросили:

— Понял ли ты это как следует?

— Нет, говорю, ваше преосвященство, даже и совсем никак не понял, ибо я, если по правде вам доложить, то ведь я, обучаясь с певчими облегченным способом, и совсем ничему не научился.

Вековечкин же мне на это сказал:

— Да ну уже полно тебе, дурню, жалобиться! Не с тобою с одним так случилося, но ничего не значит: это всегда так и быть должно, ибо по облегченному способу ничему не научаются, но однако многие на сей фасон просвещенные действуют в жизни,—и ты по-облегченному учился и облегченно и суди. Наш народ человеческой правды не знает, а свыше всего уважает божественность, ты тем и руководись,—и, удалясь к себе на малое время, принес мне печатную

тетрадь синодской печати под заглавием: „Чин бываемый во явление истины между двома человекома тяжущимася“ и сказал мне: — вот тебе, тут знайдешь себе достаточно на вся богоучрежденная правила и сим искоренишь, а меня помни по праздникам.

И вот я взял у Вековечкина тую тетрадь, а от владыки одновременно с тетрадью благословение и утвердився духом владычным и пошел до портного жида, заказал себе форму и шапку с чирушком на околку и поехал в Перегуды, имея двойную заботу: явить истину и покоить мою драгоценную матерь, но сия, впрочем, вскоре же после моего наступления на пост приставский, последовала за моим родителем туда же, где нет ни печали ни воздыхания, а одна только жизнь бесконечная, какая кому по его заслугам. А я, извольте себе думать, сам себе один остался сиротой на сей земной планете, да еще в борьбе с множайшими, престрашнейшими и преотважнейшими злодиями и конокрадами, которых я должен был извести по „Чину явления истины“!

Подумайте!

XIII.

Однако, как говорится в писании, „Господь был со мною“, ибо хотя я вступил в свою должность совсем к оной воспитанием неприуготовленный, но, желая предать себя на служение добрым людям, которых обижают злодии, я скоро стал на своем месте так не худший от прочих, що, ей-Богу, просты люди меня обожали и мною даже хвалились. Ей-Богу! С самого с начала я, разумеется, прежде всего сел с свичечкой да добре просмаковал „Чин во явление истины“, ибо, як вам уже известно, я питал огромное доверие к практицизму архиерея и непобедимейшей дерзости Вековечкина, да к тому же я не имел и иного источника для юридического познания, як сей „Чин“. И узнал я „Чин явления“ так добре, як знал первее порядок поклонения и метания орлецов. Просто все, знаете, не так, як у Цицерона, иль бо у иньших римлян, да и куда нам и для чего пыхтеть до тых римских язычников! А в „Чину“ мне то показалось хорошо, что на всякое „коей-либо вещи лишение“ по сему духовному правилу указано „предлагать пред очеса ужасный страх и устроить вину богоухищренным обра-

зом». А именно: как там все было просто и внятно сказано: надо привести деликвента и поставить его у притолка двери,—а потом встать и вздохнуть о его злобе и нераскаянности и зачитать при нем вслух молитвы,— сначала: «Царю небесный и Трисвятое", а потом „Отче наш" да „Помилуй мя Боже" и в сем псалме на сильных местах несколько раз чувствительно повторить, вроде: „научу беззаконные путем, и нечестивии обратятся". Или: „Боже, Боже спасения моего"! Ух! якая это до сердца хапательная материя! А еще як я до всего этога умел спущать интонацию, да, прочитывая чудные словеса, бывало, воспущу иной глагол особливо от сердца, так верите или нет, а, ей - Богу, иной деликвент слухает миляга, слухает, да вдруг заревет, или, аще крепкостоятелен, то и тогда видимо, как он начинает изнуряться и, томлением томим, уже не знает, что ему делать, и шепотит: „Ой, уже кончайте от разу"! А я это наблюду, да тогда начну еше в высший глас: „Глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое"... (А он разумеет, будто это „звание мое" сказано про то, що я называюся пристав!) „яко Бог не хотяй беззакония ты еси... Погубиши вся глаголящие лжу"... И тут опять на одном словеси трижды по

триждьі: „Погуби вся глаголящие лжу, погуби! погуби! погуби!“ „Гроб отверст гортань их“... „Суди им и изрини я“... „К тебе воззову да не премолчиши, и процвете плоть моя“... (Я смолоду был в процветении румяный и полный). И оборочусь до злодия, да погляну на него гордым оком, да еще скажу: „процвете моя плоть, а нечестивый погибнет!“ И вот уже от такого обращения человек, хоть он будь и какой злодей крепкостоятельный, а он испужается и ужасом сотрясется, и готов сказать: „виноват“. А я тогда сажусь, беру в руки гусиное перо и оное очищаю, а потом зачиниваю, а потом пробую его на раскепку, а сам тихо рукою вывожу, а устами читаю:

— „Спробуемо пера и чернила: що в йому за сила: „перо пише, як муха дыше“. А ты, раб Божий, имя рек, слухай: яко же божественное и священное Евангелие учит и заповедует нам, признавайся: завладев ты чужим конем или волом, или увез сено столько и столько копен? Или отвечай: яко сие на тебя клевещут и забожись: „ни-ни еже есть не угнах ни коня, ни вола, ни раба его“. Ой только ж памятуй, божий рабе, и блюди себе во явлении истины, а не бреши, бо зде при нас есть и ангелы предстоящи невидимо, и они словеса твои записують, о

них же и истязани будете во второе и страшное пришествие. И аще дерзнешь неправду показати, то да трясешися, яко крин на земли". Тут уж он, миляга, и затрясется, а я ему подбавлю: „да, да, да!" И земля пожрет тебя, яко Дафона и Авирона, и да восприемлиши проказу Гиезиеву и удавление Иудино". И ух, посмотрели б вы, как они боялись сего Иудина удавления! Проказа Гиезиева, знаете, еще, бывало ничего, бо они, дурни, по правде сказать, и не знают, что такое проказа; но удавления — и провалиться сквозь землю—все боятся! Страшно, знаете: что там под землей-то? Там ведь все черти! И как, бывало, до этого доклянешь, то уж разве какой отчаянный устоит, а то всяк закричит: „Буде уж вам таке страшенне читать! Я лучше в чем хотите вам скаюсь, як таковы страхи слушать".

Вот это,—пожалуйте, — вам юристика! А вы ну-ка без этого спробуйте по цивильным законам: вы можете достичь от человека дознать, що захочете! Отчаянному же, которого и то не брало, еще дальше было такое, что: „пожрет вас земля, и часть ваша будет с безбожными еретики. А жилище вам в вечном огне". А уж если и еще устоит и поупорствует, то в конце тетради была хороша главка во из'яснение про крестное

цолование. Сказано „кто запрется и отцалуется на неправде—бить его кнутом по три дня и потом посадить на год, а будет про то дело сыскати нечем, то разымати пыткою"...

На этом месте я, моего читателя всепокорный слуга и автор, излагающий эту повесть, позволил себе перебить Оноприя Опанасовича Перегуда почтительным замечанием, что допрашиваемые люди могли ему не поверить, что он в праве бить их кнутом и пытать на пытке, но он отвечал:

— А это позвольте: почему же бы они мне в том не поверили? Это в книжке пропечатано?

— Книжка эта,—отвечал я,—без сомнения, была издана много раньше, чем уничтожено рабство и пытка и кнут?

— Извините-сь!—отвечал бывший становой и достал у себя из „шуфлятки" тетрадь, содержащую „Чин во явление истины", и показал „выход", из коего видно было, что „книга сия напечатася во святом граде Москве в 1864 году индикта 6 месяца марта". И после сего Оноприй Опанасович сказал, что он имел полное право „предлагать пред очеса людей ужасный страх благоухищренным образом. И что это было очень хорошо, и никто этого порядка и не

оспаривал, а, напротив того, поелику сие на конокрадов превосходно действовало, то сельские люди очень сей закон возлюбили и почитали „выше всех томов Собрания“. А за то, что Перегуд знал такой хороший закон, какого другие не знали, добрые люди его „поважали, а злодии трепетали“, и от того ему пришли разом великая польза и превеличайший вред, ибо он с одной стороны надеялся, что скоро после сего мог бы по сим правилам всем руководить и править даже до века, а с другой его настиг злой рок в том, что, по выводе всех конокрадов, он впал в искушение, и в душе его зародилась ненасытная жажда славы и честолюбия. Тогда, обуреваемый этою страстию, Оноприй Перегуд из Перегудов захотел лучше всех отличиться на бо́льшее и „погиб, аки обре“,—окончательно скрывшись затем в здании сумасшедшого дома, где и ведется теперь эта беседа.

За сим же кра́тким отступлением, пусть далее рассказывает свою историю опять сам Оноприй Опанасович, своими словами.

XIV.

Не знаю я, какое вы имеете уважение на того отца Прокопа, который в оную давно прошедшую эпоху, по извержении из Пере-

гудов жидов, сам стал еще более злым процентщиком, да передал то и сыну и зятю Маркелу, и шкода мне, что я этого не знаю. Наверное многие думают: „вот это были самые худшие“, но извините, — это так не было. Может-быть, конечно, надо иначе жить и ходить перед Богом, а не так, як ходил в своих красных чоботах поп Прокопий, но ведь все люди живут не так, как следует; а только когда и Маркел внезапно окончился скорописною смертию, як раз над своею раскрытою кубышкою, где содерживал свои гроши, то вот тогда мы увидали еще худшее, ибо ко гробу высокопроцентного Маркела попа наихали студенты не токмо из бурсы, а даже академисты, и стали на дочку его, на сиротиночку Домасю или на Домну Маркеловну, такие несытые очи пущать и такие стрелы стрелять в нее через отцовский гроб, що даже посмущали всех своими холостыми зарядами. А все это единственно с тем, чтобы тут же сейчас внушить ей к себе вожделение, а тогда с нею вместе получить себе в обладание и оную преславную и прехвальную родительскую кубышку. Но за это осуждать нечего.

Деньги счастие дают,
В деньгах правда, в деньгах сила;
Все за деньги отдают,
Все, что нравится, что мило.

Это мы пели в певчих, и кто може́т и не полюбить такого могущества! А только изо всех из сих стукачей самый ловкий был один Назарко, поэт и мечтатель, который в самую последнюю минуту над гробом Маркела вз'ерошил себе на голове волосы и, закрутив косицы, вытянул вперед руку и произнес речь, да такую, шельма, отмахал наипрочувствованную речь, с хриями и тропами, и метафорами и синехдохами, что сразу со всем этим так он прямисенько и в'ехал в пшеничное сердце Домаси. Так она, бидна сироточка, тут и влюбилась в него, як кошка, и он скоро же после сего учинился поп и нарекся отец Назарий, и сел в Перегудах. Вот это уже был не такой, как жены его дед и батько, бо то были простяки и блюли только свои хапаньцы; ну, а сей, как только получил Перегудинский приход, так и почал вмешиваться не в свои дела, а главнейше всего стал заступать в мою часть и с самой преудивительнейшей еще стороны: например, вдруг он почал у людей на духу расспрашивать, не то, что не думает ли кто коней красти, а все про якие-то другие думки и пустяки, в роде того, что „чи вы ото всех довольны живете, или чи не смущае вас кто ожидати лучшего, и як с вас становой добирает податки?“ По-

милуйте, к чему это такое? А когда же пошла до него на дух моя служителька Христина, которая, откровенно сказать, была себе такая... довольно прелеповатенькая, так он ее принял хуже, чем по „Чину явления истины“, и так ее умаял своими расспросами, что та пришла и ревет, ибо говорит: „Усе люди ей смиялись: „чего се ее пип одну так долго спрашивал“. И пошла она добирать в уме: „хто-сь то, каже, про мене все таки пустяковины ему повыкладывал?“ Я ей говорю: да ну уже оставь! Нехай он себе что хочет то и думает! Так нет! все бидолаха плачет да сумуется:

— Як таки так: отчего ему все звисно, будто как он с нами тут жил вместе!—И сейчас на меня причина:— Нет, каже, я вже ж теперь не хочу с вами ни того и ни этого, и просто жить на селе не желаю, а пойду в город и буду там пока моей красы есть!

— Ну и провались ты совсем скриз свит, чортова баба, иди!—А все-таки, знаете, досадительно это вмешательство и нарушение свободы кавалерской жизни. Но дома у меня все это не долго продолжалось, потому что Христя была жинка ласковая и потому скоро соскучилась и сама пришла и извинялася: „що он там, каже ни говори, а я одна боюсь, бо мне мертвы снятся,—

нехай бог милует,—лучше опять будем по прежнему“. Но поп Назарко, продолжая все дальше да больше, начал уже испытывае людей до такой степени, що даже уж не только все мимотекущие прегрешения обследует, но и предбудущие намерения вопросит: „Чи не задумляешь ли чего прочего...“ Вот! Люди, знаете, все испугалися и стали мне говорить: „що се за нова поведенция, чого николи сего не було и в законе Божом про то не сказано!“ „Вы,—говорят мне,—сами люди письменнии: вы перед самим архиереем с свечой стояли - вам должно быть все свитло: рассудите нам: про что се новый пип нас надоумливает, а не то мы в другое село пойдем.

Бачите яка уже колобродь пошла! Уже и приход бросить согласны! Готово уголовное преступление!

XV.

Знаете, я впал в думу, ибо вижу, что это що-сь такое, против чего мне надо в самоскорейшем времени что-то сделать! А что именно сделать, на то в моем „Чине явления истины“ извествования нет! Думайте, пожалуйста, как никакая книга не может об'ять все разнообразные события жизни!

Два только, вижу, есть выбора: итти мне и об'ясниться с Назаром и уговорить его, чтобы он все это оставил, но думаю: нет, он меня не послухает и еще спросит: „откуда вам это известно?“ и потом разведет свои хрии и метафоры. Нет: не годится спрашивать. А другой выбор был то, что написать на него донос, что он человек очень сомнительный. Но доноса я писать боялся и все пребывал в нерешительности, как вдруг я сам был вызван непосредственно к самому губернатору, и тот меня спрашивает наедине про такую поэзию: знаю ли я песню: „Колысь було на Украини добре було жити?“

Я отвечаю:

— Прекрасно знаю, ваше превосходительство.

— А почему вы ее знаете?

— А потому, говорю, знаю, что у нас ее люди спивают.

— А вы же про это доносили когда-нибудь?

— Нет, отвечаю, никогда не доносил.

— А для чего нет?

— Да що же тут доносить про такие пустяки?

— А слова какие: „добре було жити, як не знали наши диды москалям служити?“ Так это?

— Точно так,—отвечаю с удивлением и докладываю, что таких писен у нас много еще, а бывает и то, що еще и теперь люди новые писни слагают

Губернатор на мои слова согласно уклонил головою и сказал:

— Вы совершенно правы, и как вы это знаете, то вперед вы должны знать и то, на что следует обращать все внимание.

Боже мой! А неужли же я до сей-то поры еще не знал, на что надо обращать внимание? Да и что тут за премудрость! Разумеется, на воров, тих, що у людей коней крадут, а не на тих пустограев, що писни поют! Что же тут говорить о такой пустяковине, и для чего мне дается такая загвоздка? Если бы был жив тот архиерей, который дал мне сокращенное образование, на манер принца, то я бы пал к его непорочным ногам, и он, яко практик, может-быть, раз'яснил бы мне како или некако: но он уже в то время от'иде к отцам или, просто сказать: „дав дуба". Да, да, да, як он ни был благочестив, а и он помер— и я забыл вам это сказать, что он помер безтрепетно со словами, из коих видно было, что он разумел себя за „олицетворенную идею", по воле Бога, который „Сам нас одушевляет, кормит, распоряжает, починяет и

опять разбирает". Но все это он разумел, а преудивительно, что никому того же духа не предал, и хотя сам добро отошел до вичного придела, но по нем самосветлейшая голова в губернии остался оный многообожаемый миляга Вековечкин, и я поехал к его страхоподобию, надеясь, что от разума его нет ничто утаено, и как приехал, то положил пред него две бутылки мадеры и говорю ему: „послухайте меня, многообожаемый, и, во-первых, примите от меня сие немецкое вино для поддержания здоровья вашего, а во-вторых, обсудите: что это, так и так, вот какие мне намеки дают, и что я в таком положении имею делать?" А он мне не отвечал прямо, а сказал как бы притчею: — „Вино мадера хотя идет из немецкого города Риги, но оно само не немецкое, а грецкое. А воры и разбойники всегда были между людьми и впредь всегда же уповательно будут. Так и было до потопа: Каин убил Авеля, брата своего, и Иосиф тоже был продан своими братьями, и те на цену его купили себе и женам сапоги. А вот ныне насташа инии взыскатели, мужский пол в больших волосах и в шляпах оной же земли греческой, где и мадера произрастает; а жинки, ох, стрижени и в темных окулярах, и глаголятся все они сицилисты или, то же

самое, потрясователи основ, ибо они-то и есть те, що троны шатают! Так вот, аще хощешь отличен быти — ты хотя одного из сих и сцапай, и тогда будет к тебе иное внимание!“

Но я говорю с сожалением, что это возможно только где-нибудь в странах просвещенных, а у нас в Перегудах ни про каких потрясователей нет и слуху!

А оный многообожаемый миляга мне на это отвечает:

— Они ныне всюду проникают, только смотреть надо. Ты конокрада брось. Конокрадов хоть и всех перелови—за них чести не заслужишь, а поймай хоть одного в шляпе земли греческой или стрижену жинку в окулярах и отберешь награду лучше Назария.

А я спрашиваю:

— Как? Неужели Назарий уже и к награде представлен!

А многообожаемый мне отвечает, что он ее уже и получил.

— Когда?

— А вот, говорит, как на сей неделе снег выпадал, тогда Назарию на перси и награда спала.

Господи! Христос, царь небесный! Да где же после этого на свете справедливость!

столько конокрадов изловил и коней мужикам возвратил, и мне за это ничего еще не свалилося, а поп Назарко що-сь такое понаврал и уже награду сцапал!.. Напала на меня от этого разом тоска, и возросло вдруг безмернейшее честолюбие. Не могу так служить—хочу награды. И зашел я в собор и плакал у раки преподобного и— вот вам крест Господень,- поклялся я тут у святых мощей не остыть до того, пока открою хоть одного потрясователя, и получу орден, и в этот способ вотру Назарию под самый его керпатый нос самую наиздоровеннейшую дулю, щоб он ее и нюхал и смоктал до вику!

XVI.

И вот, знаете, как сказано в писании: „не клянитесь никако", так, поверьте, что это и должно быть справедливое, потому что сразу же после того, як я заклялся, сделался у меня оборот во всех мыслях и во всей моей жизни: покинул я свой „Чин явления истины" и совсем не стал смотреть конокрадов, а только одного и убивался: как бы мне где-нибудь в своем стану повстречать потрясователя основ и его сцапать, а потом вздеть на себя орден по край-

ней мере не ниже того, как у отца Назария, а быть-может, и высший.

И, господь мой пренебесный, вот уже ныне или теперь, после великого моего падения, когда я, оторванный от близкой славы, вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается даже ужасно! Так я был озабочен, что по ночам совсем спать перестал, а если когда-нибудь и засну, то сейчас опять неспокойно пробуждаюсь и кричу: „Где они? Где? Хватай их!“ И моя служебница, оная жинка Христина, що я говорил вам, у меня еще и ранее була за служительку, бывало, как услышит сей крик мой, то вся затрусится и говорит:

— Що се вы, Оноприй Опанасович, совсим так ужасно задурилы, що аж с вами в доми буть страшно!

И действительно, знаете, я ее так напугал, що она, бывало, сядет на крайчик постели и боится уходить, а пристанет:

— Скажите мине, мий голубе, сизый,—що се вам такое подиялось—чого это вы все жохаетесь да кричите?

Я ей отвечаю:

— Иди себе, Христя. се не твоего разума дило!

А она така-то была бабенка юрка, да круг-

ленькая и очень ласковая, пойдет плечиками вертеть и ни за что не отстанет!

— Се, каже, правда, миленький, що я просто жинка и ничего не разумию; а як вы мини расскажете, то я тоди и уразумию.

Извольте себе вообразить ночною порою и наедине с молодою женщиною претерпевать от нея такие хитрости! Ну, разумеется, не сразу от нея избавишься. А она и вновь приступает:

— Ну вот все се добре: нехай бог помогае, а теперь скажите: кого же вы это, сердце мое, боитеся?

— Злодия боюсь.

А она и через свою пухленьку губку только дунет и отвечает:

— Ну где-ж таки, щоб вы, да такой храбрищий пан, що никогда еще никакого злодия не боялись, а теперь вдруг забоякались! Нет, это вы, сердце мое, що-сь-то брешете.

И то ведь совершенная ея правда была, как она мне рассказывала, что я с самыми жестокими ворами был пребесстрашный. Заметьте, что, бывало, призову ариштанта и сижу с ним сам на сам и читаю ему по тетради молитвы и клятвы, и пугаю его то провалом земли, то частью его со Иудою, а сам нарочито раскладаю по столу бритвы, а потом опущаю их в теплую воду, а потом

капну из пузыречка оливкою на оселок, да правлю бритвы на оселочке, а потом вожу их по полотенечку, а потом зачинаю помалу и бриться. А той, виноватый, все стоит да мается, и пить ему страшно хочется, и колена его под ногами ломятся, и Христя говорит: „я, было, только думаю, что он, дурак, сам не возьмет у вас бритву, да горло вам, душечка, не перережет. Нет; вы все бесстрашной были, а теперь вы мне, бедной сиротинке, не хотите только правды сказать: кого это вы во сне хапаете, а сами вси труситесь. Я после сего буду плакать!"

А я ей отвечаю: „Ну-ну-ну!" Да все ей и рассказал: какие об'явились на свете новые люди в шляпах земли греческой.

А она, бисова жинка, вообразите себе, еще нимало сего не испугалась, а только спросила:

— Що ж, они еще, муси-быть, молодые чи старые?

— Якие ж там старые!—говорю,—нет! они еще совсем, муси-быть, в свежих силах, и даже совсем молодцы.

— От-то ще добре, що они молодцы. От як бы они тут були, я бы на них подывилась!

— Да, говорю, ты бы подивилась! И видать, що дура! А ты то бы подумала, что в яком они в страшном убори!

А вот тож! Чего я их буду так страховатися? Як они молодые, то в яком хочешь убраньи—все буде добре, як „разберуться“.

— Они в шляпах земли греческой.

– А се яка ж така шляпа земли греческой?

– А вот то и есть, что я еще и сам не знаю, какая она такая, мохнатая.

— Ну так що ж, що она мохнатая! Може, это еще и не страшно!

— Нет, это очень даже страшно, и как он на тебя наскочит, так ты испугаешься и упадешь.

— Ну-у, это еще ничего вам не звисно!

— Нет, мне известно, что они для того созданы, чтоб колебать основы и шатать троны, а уж от тебя-то что и останется!

— Се, говорит, все в божой власти: може, бог так мени даст, що яка я есть сама, такесенька и зостанусь, и они ничего злаго мени не сделают.

Я рассердился:

– Ишь ты какая дрянь!—говорю. Ну, если ты так хочешь, то и пусть он тебя забодает своею шляпою!

А она отвечает с досадой:

— Да що вы меня все тою шляпой пужаете! Хиба ж у него та шляпа до лоба гвоздем прибита? О тож боже ласковый!

Я думаю, они ее, когда надо, и снимать могут, а не бодаются.

Но мне это показалось так нагло, что я вскричал:

— Да ведь они убийственники!

А она отвечает, что, по ея мнению, они могут только убивать мужчин, а „жинок“ соблюдать будут.

Тут я ее похнул рукою и сказал:

— Иди из моей комнаты вон!

А она ответила:

— И то уйду, и еще с превеликой охотою, а того в шляпе греческой не боюсь, да, не боюсь и не боюсь.

XVII.

Прогнал я дерзновенную Христю, но возмутился духом от ея наглости и враз тогда же почуял, что это за тяжкое бремя забот я возложил на себя из за какой-то, можно сказать, мечты.—„И может-быть, еще, мечты мои безумны“ и „напрасны слезы и тоска“, а между тем я уж испытал томление, и впереди еще один бог весть, что меня ожидает! Лестно, конечно, один бог знает, як лестно поймать и привезти в город потрясователя, но ведь где же его тут взять! Боже мой милый!.. И к тому еще, что это за бисован-

ная жинка оказывается Христя! Извольте себе думать—она их нимало не боится, а даже будто любопытна испробовать: „чи то у них прибита шляпа земли греческой до лоба, чи она не прибита и скидается?“ Вот так чортовка баба! Що, если и другие так будут?!

Ну да уж только бы попался мне сей горестный потрясователь, а я ему уже не дам спуску. Лишь бы только он мне попался! Уж я с ним управлюсь, но где же это они? Может-быть, надо их подмануть? Конопельки им подсыпать—а? Но как же это учинить полагается? В какой способ?

И стал я об этом думать и до того себя изнурил, что у меня вид в лице моем переменился, як у пограничной стражи, и стали у меня, як у тых, очи як свещи потухлы, а зубы обнаженны... Тифу, какое препоганьство! А до того еще Христя що ночь не спит, як собака, и все возится... А стану спрашивать—говорить, що ей все представляется, будто везде коты мяукают да скребощут.

— Что за пустяки, говорю. Какое тебе до котов дело! Бильше сего щоб не було! Спи!

Пообещается спать, но знову не спит и в окно смотрит.

Говорит:

— Вы сами всему виноватые: зачем мне бог знае чого насказали о тех, що скризь везде трясут в шляпах земли греческой, а их и нема. Мне теперь так и кажется, что се они где-то скробощут.

Я ей сказал, что я то говорил не в правду, что никого нет, и в шляпах никто не ездит.

— Це, говорю, було де-сь давно, совсим у не нашем царстви, а може, ничого того совсем чисто и не было, а только так писарю показалось.

А уж она, замечайте, отказу не верит:

— Нет, говорит, они где-нибудь скробощут: это мое сердце чувствует.

— Дура! Може, бачите, у нее „сердце чувствует"! И такая она мне вся сделалась какая-то неприятная—вся даже жирная, и потом от нее отдает остро, як от молодой козы.

Именно эти женщины ничего более, как не введи меня Господи с ними во искушение, но избавь меня от лукавого.

Споткавши однажды отца Назария, я спросил его, что не слыхал ли он чего-нибудь в городе о потрясающих основы, коим я не верю.

А Назарий отвечает с гордостию:

— Какое же вы имеете право сему не верить?

— А где же они? — говорю. — А для того, что их нет, так я и не верю.

Как же вы это можете так говорить: разве начальство лжет?

Ось, як строго!

— Позвольте, позвольте, — отвечаю, — я начальство уважаю не меньше от вас, а я потому говорю, что я потрясователей не видал.

— Так же вы и Китая, и Америки не видали?

— И действительно не видал

— И Петербурга, пожалуй, не видали?

— И Петербурга тоже не видал, и Москвы не видал, да что же из того следует: какое сравнение?

— А такое сравнение, что вы же, я думаю, веруете и не сомневаетесь, что есть на свете Китай и Америка, и Москва с Петербургом.

— Позвольте-с! — отвечаю, — это совсем пребольшущая разница: из Китая идет чай, и мы его пьем! Ось! А Америку открыл Христофор Колумб, которого неблагодарные соотечественники оклеветали и заковали в цепи, и на это картины есть, и это на театрах играют; а в Москве был Иоанн Грозный, который и с вас, может-быть, велел бы с живых кожу снять, а Петербург основал Петр Великий, и там есть рыба ряпушка, о

которой бессмертный Гоголь упоминает, а потрясователи это что! Я их не вижу и даже значения их пришествия не ощущаю.

Отец Назарий так и вскинулся:

— Как это знамения не ощущаете?

— Не ощущаю, ибо какое я здесь застал самополнейшее невежество при моем рождении,—то оно то же самое и теперь остается.

— А-а, говорит,—вот вы на что ублажаете!

— Да, я утверждаю, что здесь и еще все в том же самом мраке многие предыдущие лета останется. А если сие не так, то, прошу вас, покажите же мне знамения оных пришествия! А вот вы мне сего не покажете!

Я думал, что вот я очень хорошо схитрил; а он тихо показал мне перстом на свой орден и говорит:

— Иного знамения не дастся вам!

Но я ж его еще был хитрейший, ибо враз же взял перекрестился и поцоловал его крест и говорю:

— А сему вот мое уважение и вера!

И вот тогда он, самолюбием и молодостию опьяненный, не проник того, что я его испытую, а начал рассказывать, что потрясователей не сряду увидишь.

— А як же?—говорю,—скажите мне, пожалуйста, ибо я человек прелюбопытнейший и все люблю знать.

Он же отвечает:

— Появлению их предшествует молва!

— Позвольте!—я говорю,—какая молва; и что именно ею выражается?

— Выражается желательное намерение критиковать действия и судить об оных соотношениях.

— Ну-с! А за сим?

— А за сим наступит все вредное, и тогда уже приходят те, враги рода человеческого и потрясователи основ,—мужеский пол в шляпах земли греческой, а женская плоть—стрижены и в темных окулярах, як лягушки.

— Да все же, говорю, помилуйте, что же таким людям у нас тут делать? У нас же вблизи никаких образованных особ нет, и нечего потрясовать!

А Назарий уже очень хотел меня просвещать и говорит:

— Не уповайте так, ибо они проникают повсюду с целию внушать недоверие к счастию и недовольство семейною жизнью, а похваляют бессребренность и безбрачие, а потом вдруг уменьчтожат величину всех тех, на ком покоятся государственные основы, и то все с тем, что после сами воссядут и будут погублять души.

— Да, вот то-то, говорю, у нас ведь и нет тех, що представляют собою основы!

— А вы и я!—говорит мне со строгостию отец Назарий,—разве мы не основы?

— Ну гдеж таки! Хиба такие бывают основы!

— А отчего же? Я основа веры, а вы... основа гражданского порядка.

— Ну, позвольте, говорю, что вы основа веры, это я готов согласиться, но я самая последняя спица и действую только во исполнение предписания.

Но Назарий,—вообразите,—вдруг обнаружил огромный талант и так, шельма, пошел мне на перстах загибать, что, ей-Богу, я и сам почел себя за основательную основу и стал бояться за сохранение своей жизни. И как иначе! Прежде, бывало, живешь, и ешь и пьешь, и в баньке попаришься, и за конокрадом скачешь, так, что аж земля дрожит, а потом маешь его хорошенько по „Чину явления истины“, и не о какой для себя опасности не думаешь; а тут вдруг на все мои мысли пал як бы туман страха и сомнения. И первое, на что я устремился—это щобы купить себе многоствольный револьвер и держать его во всякое время возле себя, с зарядами, и в ночи класть его под подушку и палить из него при первом чьем-нибудь появлении.

Жид привез мне из города потребный револьвер, под названием „барбос“, на шесть

стволов, и я все стволы, как должно, насыпал порохом и забил пулями, но только не наложил пистоны, потому что от них может выстрелить. Но позвольте же, хорошо, что это так только и случилось, а мог выйти ужас, потому что в той же нощи мне привиделся сон, что потрясователи спрятались у меня под постелью и колеблют мою кроватку, и я, испугавшись, вскочил и несколько раз спустил свой револьвер-барбос, и стал призывать к себе Христю и, кажется, мог бы ее убить, потому что у нее уже кожа сделалась какая то худая и так и шуршала, як бы она исправда была козлиха, желающая итти с козлом за лыками.

Но вы обратите внимание на сказанный сон мой, ибо есть сны значения ничтожного, происходящие от наполнения желудка, а есть и не ничтожные, которые от ангелов. Вот эти удивительны!

XVIII.

Кажется, я вам говорил, что у нас в достаточном числе Перегудинских панов обитал препочтенный и тоже многообожаемый миляга и мой в некотором роде родич Дмитро Опанасович. Вот доложу вам, тож добрый гвоздь был. Это тот самый, о коем слегка

раньше упоминалось, что он отобрал себе отменное образование в московском пансионе Галушки, а потом набрал хобаров в пограничной краже. Он был давно в раз'езде с супругой и, как многострастный прелюбодей, скучал без женского общества, и в виду того всегда имел в порядке женин бедуар и помещал в нем нарочитых особ женского пола для совместного исправления при нем хозяйственных и супружеских обязанностей, и для разговоров по-французски. Для того же, чтобы дать всему такому соединению приличный вид, он взял себе на воспитание золотушную племянницу шести годов и, как бы для ее образования, под тем предлогом содержал соответствующих особ, к исполнению всех смешанных женских обязанностей в доме. Но, главное, что он имел подлое обыкновение не все их должности об'яснять им при договоре, а потому случалось, что с некоторыми из них у него бывали неудовольствия, и иные вскорости же покидали бедуар и от него бежали... Были и таковые даже, что обращались ко мне под защиту, как представителю власти, но я,—бог с ними,—я их всегда успокаивал и говорил: „Послушайте: ведь спором ничего не выйдет, а самое лучшее—мой вам совет, —что можно в вашем женском положении

исполнить, то и надо исполнить". И иные того послушали, а одна, прошу вас покорно, и такая была, что мне же за это да еще и в лицо плюнула. Но, а все, душко мое, своей судьбы однакоже не избежала... И Дмитрий Афанасьевич, знаете, это очень ценил и за то в иных своих тайностях от меня уже не укрывался. Привезет, бывало, новую воспитательницу и говорит мне моими же словами: „спробуем пера и чорнила: що в иому за сила?", или скажет:

— Ну как-то эта Коломбина, потрафит угодить нашему Пьеро или нет?

А потом тоже прямо об'являет:

— Нет; эта Коломбина—бя! Она нашему Пьеро не потрафила! И сейчас же за то таковой была перемена. И было у него этих перемен до чорта! И на эту пору тоже как раз была Коломбина „бя!" и была ей такая спешная смена: потому что полька, которая у него жила, большеротая этакая, и вдруг с ним побунтовалася и ключи ему так в морду бросила, что синяк стал... Что с ними, с жинками, поделаешь, як оне ни чина, ни звания не различают! Ну-с, а через это украшение многоуважаемый Дмитрий Афанасьевич сам не мог ехать за новою особою, а выписал, миляга, таковую наугад по газетам и получил ужасно какую некрасивую, с

картофельным носом, и коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербурской педагогии.

Но сия некрасивая девица пленила меня тем, что прибыла к нам в описанном подозрительном виде, и я захотел ее испытать прежде, чем до нее приничет своим оком Дмитрий Афанасьевич, и говорю:

— Ну, не знаю как кому, а мне сдается так, что сия Коломбина на вашего Пьеро не угодит?

А он вместо того, чтобы по своему обычаю шутить моими словами: „спробуем перо и чорнила—що в иому за сила!“, с грустью мне отвечает:

— Да, братец, это и действительно: кажется, я на сей раз так ввалился, как еще никогда и не было. Скажи, пожалуйста, даже совсем никак глаз ее не видно за темными окулярами!

— Да, отвечаю, это не малое коварство.

— Не понимаю, как это цензура всем таким ужасным валявкам и малявкам позволяет печатать о себе в газетах об‘явления. Еслиб я главный цензор был, никогда бы этого не вышло.

— Эге!—говорю,—а вот то-ж-то оно и есть! Глаза человека это есть вывеска души, а неужели она так и не скидает очков?

Вообрази,—не скидает!

- Да вы бы от нее этого потребовали:

-- Скажи же, с какого повода?

— Ну так она же их передо мною скинет.

— Сделай твое одолжение!

— Извольте!

И что я только выдумал!—ей богу, даже и сам не знаю, откуда у меня это взялося.

XIX.

Вздумал я с этою загадочною личностью все дознать безотложно и непосредственно, и для того, чтобы с нею ознакомиться, изобрел такой повод, что будто у меня начинают очи притомляться, и будто я желаю купить себе темны окуляры, да не знаю, что им за цена, и що в их за сила, и где они покупаются? Можете теперь догадаться, яка выдумка! Ну, а що насчет ее образованности, то я этого не боялся, потому, что бывавши у вице-губернаторши при примерных казнях по совету Жуковского, я сам значительно приобык к светскости и мог загнуть такое двусмыслие, что мое почтение. И пошел я с этим в послеобеденное время в дом к Дмитрию Афанасьевичу и подхожу потиху, с надеждой: не увижу ли оную валявку или малявку женского пола с картофельным но-

сом, и тогда ее спрошу: „где господин Дмитрий Афанасьевич?“ и тогда мы с ней разговоримся.

Так было всегда с прежнею с полячкою: спросишь у нее, а она, бывало, отвечает: „пожалуйте: вот он, сей подлец“. И все оне его як-то скоро в сей чин жаловали, а он, бывало, только головой мотает и скажет: „начались уже дискурсы в дамском вкусе“. А этой, нынешней дамы, вообразите себе, совсем не видно, и я разыскал сам Дмитрия Афанасьевича и говорю ему:

— Знаете ли вы, премногообожаемый Митрий Афанасьевич, прислoвие, що як все иде по моде, то тогда и морда до моды прется.

Он отвечает:

— Да; и что ж потому?

— А то ж потому, що ось так и я хочу купить себе потемненные окуляры, щоб удоблегчить глаза, но не знаю, що и их за сила, и сколько они стоят, и где их набрать?

А он еще моих мыслей не втямил и отвечает:

— Я, батюшка мой, славу богу, не жид и очками не торгую.

— Да и не о том я говорю, чтобы вы торговали, а вот ваша новая дама такие темные очки носит.

— Ну так что же я с этим сделаю! Мне это, конечно, противно.

— А разумеется, говорю, вам это и должно быть неприятно! Как же, она к вам ведь приближенная, а между тем вам невозможно даже ее позу рожи видеть. Я к вам пришел с тем, чтобы все это ее очарованье разрушить.

— Сделай говорит, милость, но только чтоб и я видел.

— Пожалуйста, спрячьтесь где-нибудь и смотрите.

— Ну хорошо, и так как она теперь в зале при чайном столе за самоваром сидит, то ты входи к ней и скажи, что я еще не скоро приду, а я спрячусь и буду в это время из коридора сквозь щель смотреть.

— Очень превосходно, — скажите только скорее: как ее звать?

— Юлия Семеновна.

— А из какого она звания?

— Ничего необыкновенного, но только „из ученых". Можешь смело про все мотивировать.

Пошел я в залу и вижу действительно, ах, куда какая не пышная!.. Извольте себе представить в пребольшой зале, за большим столом перед самоваром сидит себе некая женская плоть, но на всех других здесь прежде ее бывших при испытании ее обязан-

ностей нимало не похожая. Так и видно, что это не собственный Дмитрия Афанасьвича выбор, а яке-с заглазное дряньше. Платьице на ней надето, правда, очень чистое, но, знаете, препростое, и голова вся постриженная, как судового паныча, и причесана, и видать, что вся она болезненного сложения, ибо губы у нее бледные и нос курнопековатый, ну, а очей, уж разумеется, не видать: они закрыты в темных больших окулярах, с теми пузатыми стеклами, що похожи как лягушечьи буркулы. Как вы хотите, а в них есть что-то подозрительное!

Ну-с, я ее обозрел и вижу, что она сидит и что-то вяжет, но это не деликатное женское вязанье, а простые чулки, какие теперь я вяжу; перед нею книжка, и она и вяжет и в книжке читает и рассказывает этой своей воспитаннице, Дмитрия Афанасьевича сиротке; но, должно-быть, презанимательнейшее рассказывает, ибо та девчурка так к ее коленям и прильнула и в лицо ей наисчастливейше смотрит!

Я даже подумал в себе: неужли же они такие лицемерные эти потрясователи, что могут колебать могущественные империи, а меж тем с вида столь скромны!

И враз рекомендуюсь сей многообожаемой Юлии Семеновне:

— Вот, мол, я честь имею здешний становой,—но не думайте, что уже непременно, как становой, то и собака! Я совсем простой преданнейший человек и пришел к вам прямо и чистосердечно просить вашей ласки.

Она смутилась и говорит:

— Я не понимаю, что вы мне говорите.

— Совершенно верно, отвечаю, но я сейчас буду вам мотивировать: я поврежденный человек...

Она отодвигается от меня дальше.

— Дело в том, говорю, что я повредил себе письменными занятиями остроту зрения и теперь хочу себе приобресть притемненные окуляры или очки, да не знаю: где они покупаются. Да. И не знаю тоже и того: почем они платятся; да, а самое главное—я не знаю, що в их за сила?—сгодятся они мне или совсем не сгодятся? А потому будьте вы милосерденьки, многообожаемая Юлия Семеновна, позвольте мне посмотреть в ваши окуляры!

Она отвечает:

— Сделайте милость!—и снимает с себя очки без всякой хитрости.

А я будто не умею с ними обращаться и все ее расспрашиваю, как их надеть, а сам гляжу ей в открытые глаза и, представьте, вижу серые глазки и весьма очень милые, и

вся поза рожицы у ней самая приятная. Только маленькая краснота в глазках.

Я померил очки и сейчас же снял назад и говорю:

— Покорно вас благодарю. Мне в них неловко.

Она отвечает, что к этому надо привыкнуть.

— А позвольте узнать, вы же давно к ним привыкли?

— Давно.

—А смею ли спросить с якого поводу?

Она помолчала, а потом говорит:

— Если это вас интересует,я была больна.

— Так; а чем, на какую болезнь страдали, осмелюсь спросить?

— У меня был тиф.

— О, тиф, это пренаитежелейшая болезнь: все волосья як раз и выпадут. Без сомнения, в этих обстоятельствах вы и остриглись?

Она улыбнулась и говорит:

— Да.

— Что же, говорю, это гораздо разумнейше, нежели чем совсем плешкой остаться. Ужасно как некрасиво,—особенно на женщине.

Она опять улыбнулась и читает сиротинке, а я перебил:

— А впрочем, говорю, для вас, как для девицы небогатого звания, тоже нейдет и стрижка!

Она не теряется, но вдруг немедленно отвечает:

— При чем же тут является звание?

— А как же,—говорю—те, що богатого сословия, то они що хотят, то и могут делать, и могут всякия моды уставлять, а мы над собою не властны.

А она вдруг отвечает:

— Извините: я не имею чести вас знать и не желаю отвечать на ваши суждения.

— Разве они не кажутся вам справедливыми?

— Нет; и к тому же они мне совсем неинтересны.

Я спрашиваю:

— А какое это вы вязанье вяжете? Это что-то просто аляповатое, а не дамское.

— Это чулки.

— Да вижу, вижу: действительно чулки и еще грубые. Кому же это?

— У кого их нет.

— Ага!—для беднейшей братии... Превосходное чувство это сострадание. Но мы, знаете, вот по обязанности бываем должны участвовать в сборе податей и продавать так называемые „крестьянские излишки",—так Господи Боже, что только делать приходится, Ужас!

— Зачем же вы делаете то, чему после ужасаетесь?

Ага!—думаю себе,—не стерпела, заговорило ретивое!

И я к ней сразу же пододвинулся и преглубоко вздохнул из души и сказал с сожалительной грустью:

— Эх-эх, многообожаемая Юлия Семеновна; если бы вы все то видели и знали, яки обиды и неправды диятся, то вы бы наверно кровавыми слезами плакали.

Она мне ничего не ответила и стала знову показывать ребенку, как чулок вязать.

Вижу, —девка хитрейшая! Я опять помолчал, и опять сделал к ней умильные очи и говорю:

— А позвольте мне узнать: какое ваше понятие о богатых и бедных?

Она же на это по началу как бы обиделась, но потом сейчас же себя притишила и и говорит:

— Обольщение богатства заглушает слово.

— Превосходно, говорю, превосходно. Многообожаемая, превосходно! Ах, если бы это все так понимали!

— И это так и должно понимать, и говорить людям, чтобы они не считали за хорошее быть на месте тех, которые презирают бедных и притесняют их и ведут в суды и бесславят их имя.

— Ах, говорю, как хорошо! Ах, как хорошо! Извините меня, что я себе это даже запишу, ибо я боюсь, что не сохраню сих слов так просто и ясно в своей памяти.

А она преспокойно, как кур во щи, лезет:

— Пожалуйста,—говорит даже,—запишите.

А я уже вижу, что она так совершенно глупа и простодушна, и говорю:

— Только вот что-с, я как будто кружовником перст защепил, и мне писать трудно: не сделаете ли вы мне одолжения: не впишите ли эти слова своею ручкою в мою книжечку?

А она отвечает:

— С удовольствием.

Да! да! Отвечает: „с удовольствием и в ту же минуту берет из моих рук книжку и ничтоже сумняся крупным и твердым почерком, в роде архиерейского, пишет сначала в одну строку: „Обольщение богатства заглушает слово“, а потом с красной строки: „Богатые притесняют вас и влекут вас в суды и бесславят ваше доброе имя“.

Все так и отляпала—своею рукою прописала, так что мне ее даже очень жалко стало, и я сказал:

— Благодарю, наисердечнейше вас благодарю, многообожаемая!—и хотел поцеловать ручку, которая у нее префинтикультепная,

но она руку скрыла, и я не добивался и выскочил к Дмитрию Афанасьевичу и говорю ему:

— Видели?

Отвечает:

— Видел.

— Ну и чтоже?

Он только гримасу скосил.

И я его поддержал: конечно, говорю, поза рожи ее еще ничего—к ней привыкнуть можно, и ручка очень белая и финтикультепная, но морали нравственности ее такие, что я ее должен сгубить, и она уже у меня в кармане.

И Дмитрий Афанасьевич меня похвалил и сказал:

— Ты брат, однако, хват!

— А вы же обо мне, говорю, как думали?

— Я, говорит. не полагал, что ты с дамами таковый бедовый.

— О, я,—говорю, — бываю еще гораздо бедовейше, чем это!—И так, знаете, разошелся, что действительно за чаем уже не стал этой барышне ни в чем покою давать, и прямо начал казнить города и всю городскую учебу и жительство, що там все дорого, и бисова тиснота, и ни простора ни тишноты нет.

Но она тихо заметила, что за то там происходит движенье науки.

— Ну, я,—говорю,—этого за важное не почитаю, а вот что я там наилучшего заметил, это только то, что вместо всех удовольствий по проминаже ходят вечером натянутые дамы, и за ними душистым горошком пахнет.

А когда она сказала, что в нашей степной местности даже и лесов нет, то я отвечал:

— То и что ж такое! Правда, что у нас нет лесов, где гулять, но за то у нас, у Дмитрия Афанасьевича, такой сад, что не только гулять, но можно блудить страшней, чем в лесу.

Дмитрий Афанасьевич предоволен был и надавил меня под столом ногой в ногу, а она вдруг подвысила на меня свои окуляры и спрашивает:

— На каком вы это языке говорите?

— На российском-с.

— Ну так вы ошибаетесь: это совсем язык не российский.

— А какой же-с?

— Мне кажется, это язык глупого и невоспитанного человека.

И с сим встала и вышла.

— Какова-с?

Дмитрий Афанасьевич, видя это, придрался и просил:

— Пожалуйста же, избавь меня от нее как можно скорее!

— Будьте, говорю, покойны!

И как только я пришел домой, так сейчас же,—благослови Господи,—написал по самому крупному прейскуранту самое секретнейшее доношение о появившейся странной девице и приложил листок с выражением фраз ее руки и послал ночью с нарочным, прося в разрешение предписания: что с нею делать?

Но вообразите: в сей ночи я не один не спал, ибо и она вдруг схопилась, послала до жида за конями и об'явила Дмитрию Афанасьевичу, что она сейчас уезжает, а если ей не приведут коней, то пешком пойдет и прямо к предводителю дворянства.

А Дмитрий Афанасьевич как рад был от нее избавиться, то сказал:

— Зачем же к предводителю. Сделайте милость хоть куда угодно.

Ибо Дмитрий Афанасьевич терпеть не мог предводителя, потому что предводителем тогда был граф Мамура, которого отец был масон и даже находился на высланье и в сына вселил идеи, по которым тот Дмитрия Афанасьевича не многообожал. Но о нем пока остановимся на этом, а барышня уехала, и, вообразите, от возившего ее жида дознаю

что она уехала к тому предводителю! И вот, значится, от сих неизвестных причин откроется их гнездо, и честь открытия, знаете, принадлежать будет мне!.. Но что же вышло?! Не даром, верно, поется: „Мечты мои безумны“, ибо вдруг позвали меня в город, и тот сам, кто мог меня представить к поощрению орденом, по жалобе предводителя, начал меня ужаснейше мотивировать: для чего я говорил девице непристойности, и потом пошел еще хуже мотивировать за донос, и на нем доказал, будто глупейшего от меня и человека нет! И сам же показывает мне рукопись фраз той стриженой панночки или мамзели, и под ними красными чернилами обозначения: под одной стоит: „Матфея XIII, 22, а под другой: Іакова II, 6“.

— Да с! Вообразите, что она все это взяла из нового завета! Ну и скажите на милость: для чего их этому всему понаучивали! Даже и сам штаб-офицер говорит:

— Хорошо еще, что у меня писарь узнал, откуда эти слова, а то мы все могли это пустить далее, и тогда когда—нибудь обо всех нас подумали бы, что мы ничего не знали!

И опять пошел мотивировать, но за усердие похвалил и об ордене сказал, что это— желание благородное, и надо стараться и надеяться.

XX.

Ось тоби и счастие! Я был в превеликом смущении и побежал до старого своего помогателя Вековечкина и стал его просить об уясненни: как мне себя направлять в дальнейшей службе?

— Помогайте, говорю, многообожаемый, потому что я связался с политическими людьми, а се, я вам скажу, не то що конокрады, с которыми я управлялся по „Чину явления истины“. Как вы хотите, а политика,—бо дай, она исчезла,—превосходит мой разум. Помилуйте, как тут надо делать, чтобы заслужить на одобрение?

А он паки так тихо, як и тожде, говорит:

— Это нельзя указать на всякий случай отдельно, а вообще старайся, як можно больше угождай против новых судов, а там, може, и в самом деле господь направит в твои руки какого-нибудь потрясователя. Тогда цапай.

— О,—говорю:—только дай господи, чтоб он был!

И еду назад домой успокоенный и даже в приятной мечте и приехал домой с животным благоволением и положился спать, помолясь богу, и даже просто вызывал по-

трясователя из отдаленной тьмы и шепотал ему:

— Приходи, друже! Не бойся чего тоби себя долго томить! Ведь долго или коротко, все равно, душко мое, твоя доля пропаща; но чем ты сдашься кому-нибудь, человеку нечувствительному или у которого уже есть орден, то лучше сдайся мне! Я тебя, душко, и покормлю хорошо, и наливки дам пить, и в бане помыю, а по смерти, когда тебя задавят, я тебя помнить обещаюсь...—А он все не идет и опять меня томит забота: как бы его найти и поймать? И думаешь, и не спишь, и молишься, и даже все спутаешь вместе, мечты и молитвы. Читаешь: „Господи! аще хочу, или аще не хочу спаси мя, и аще мечты мои безумны“... и тут вдруг опомнишься и все бросишь и начинаешь соображать. Сказано, что хорошо стараться ни в чем не уважать суду, да як же таки, помилуйте меня, я, малый полицейский чин, который только с певчими курс кончил, и вдруг я смею не уважать университанта, председателя того самого велегласного судилища, которое приветствовано с такой радостью! Возможно-ли? Правда, что всенепобедимый Вековечкин из‘яснил, что „приветствия ничего не значат!“ „И ты,—сказал он,—где сие необходимо—приветствуй, а сам все подстрои-

вай ему в пику, так, щоб везде выходили какие нибудь глупости;—так их и одолеем, бо этому никак нельзя быть, чтобы всех людей одинаково судить, и хотя это все установлено, но знову должно отмениться". Ну хорошо!

А потом припоминаю: що же он еще мне указывал? Ага! щоб проникать в „настроение умов в народе". Но какие же, помилуйте, в Перегудах настроения умов? Но однако думаю себе: дай попробую! И вот я еду раз в ночи со своим кучером Стецьком и пытаю его настроение!

— Чуешь ли, говорю, Стецько: чи звисно тоби, що у нас за люди живут в Перегудах?

— Що такое?!—переспросил Стецько и со удивлением.

Я опять повторил, а он отвечает:

— Ну, известно.

— А що они себе думают?

— Бог з вами: що се вам сдалось такие глупости!

— Это, братец, не глупости, а это теперь надо по службе.

— Чужие думки знать?

— Да.

Стецько молчит.

— Ну что ж ты молчишь? Скажи!

— А що говорить?

— Что ты думаешь?

— Ничего не думаю.

— Как же так ничего не думаешь! Вот я тебе що-сь говорю, ну, а ты що же о том думаешь?

— Я думаю, що вы брешете.

— Так! А я тебе скажу, что ты так думаешь для того, що ты дурень.

— Може, и так.

— А ты подумай: не знаешь-ли, кто як по-другому думае?

— А вже ж не знаю! Хиба это можно чужие думки знать!

— А як бы ты знав!

— Ну то що тогда?

— Сказал бы ты мини про это или нет?

— А вже ж бы не сказал.

— А отчего же бы это ты, вражий сыне, не сказал бы?

— А на що я буду чужие думки говорить? Хиба я доказчик, або иная подлюга!

— Так вот тебя за это и будут бить.

— А за що меня бить будут?

— Не смей звать подлюгою!

— Ну, а то еще як подлюгу называть як не подлюгою, а бить теперь никого не узаконено.

— Ах, ты, шельма! Так это и ты вздумал на закон опираться!

— Ну, а то ж як!

— Як! Так вот погоди—ты увидишь, где тебе пропишут закон!

А он головой мотнул и говорит:

— Се вы що-сь погано говорите!

Но я его оборотил за плечи и говорю:

— Вперед больше так не смей говорить. Я тебе приказываю, щоб ты везде слухал, що где говорят, и все бы мне после рассказывал. Понимаешь?

Он говорит:

— Ну понимаю!

— А особенно насчет тех, кто чем-нибудь недоволен.

— Ну уж про это-то я ни за що не скажу.

— А почему же ты, вражий сыне, про это не скажешь?

— Не скажу потому, что я—оборони боже—не шпег и не подлюга, щоб людей обижать.

— Ага!,. Ишь ты какой.

— А повторительно потому, що меня тогда все равно люди битемут.

— Ага! Ты боишься, что тебя мужики побьют, а я тебе говорю, что это еще ничего не значит.

— Это вы так говорите, потому що они вас еще не били.

— Нет, не потому, а потому, что после мужиков ты еще в своем месте жить останешься, а есть такие люди, що пропорхне мимо тебя, як птица, а ты его если не остановишь сцапахопатательно и упустишь, то сейчас твое место в Сибирь.

— Это за чтоже меня в Сибирь?

— Бо они потрясователи основ.

— Да що же мени до них? Бог с ним.

— Вот дурак! Сейчас сразу и виден, что дурак!.. Потрясователь основ, а он говорит: „Бог с ними!“ Какая скотина!

А он, Стецько, обиделся и начинает ворчать:

— Що ж вы всю дорогу ругаетесь?

— Я—отвечаю — для того тебя, дурака, ругаю, что, когда ты едешь, то чтобы ты теперь не только коньми правил, но и повсеместно смотрел, чи не едет ли где-нибудь потрясователь, и сейчас мы будем его ловить. Иначе тебе и мне Сибирь!

Стецько выслушал это внимательно с своею всему миру преизвестною малороссийскою флегмою и говорит:

— Ну, а после еще що?

А я ему стал сочинять и рассказывать, что как вперед надо жить, что надо уже нам перестать делать по-старому, а надо делать иначе.

А он спрашивает:

— Як?

А я говорю:

— А вот так: вот мы едем у дышель, а надо закладать тройку, с дугой да с бубнами...

Он смеется и говорит:

— А еще ж що?

— Писень своих про Украину да еще що не спивать.

— А що ж спивать?

— А вот: „По мосту-мосту, по калинову мосту“.

— А се що ж такое „калинов мост“?

— Веселая песня такая: „Полы машутся, раздуваются“.

Он, глупый, уже совсем смеется:

— Як „раздувается“? Чего они раздуваются?

— Не понимаешь?

— А, ейже да Богу, не разумию!

— Ну то будешь разуметь!

— Да з якого ж поводу?!

— Будешь разумить!

— Да з якого поводу?!

— Побачишь!

— Що!

— Тоди побачишь!

А он вдруг кажет:

— „Тпру! —“ и, покинув враз всю оную свою превеликую малоросскую флегму, сразу остановил коней и слез и подает мне вожжи.

— Это что?—говорю.

— Извольте-ся!—отвечает.

— Что же это значит?

— Вожжи!

— Зачем?

— Бо я больше с вами ехать не хочу!

— Да что же это такое значит?

— Значится, що я всей сей престрашенной морок не желаю и больше с вами не поиду. Погоняйте сами.

Положил мне на колени вожжи и пошел в сторону через лесочек!...

Я его звал, звал и говорил ему и „душко мое“, и „миляга“, но назад не дозвался! Раз только он на минуту обернулся, но и то только крикнул:

— Не турбуйтесь напрасно: не зовите меня, бо я не пойду. Погоняйте сами.

И так и ушел... Ну прошу вас покорно уделать какую угодно политику ось с таким-то народом!

— Звольтеся: погоняйте сами!

А кони у меня были превостренькие, так как я, не обязанный еще узами брака, любил слегка пошиковать, а править-то я сам

был не мастер, да и скандал, знаете, без кучера домой возвращаться и четверкой править. И я насилу добрался до дому и так перетрусился, что сразу же заболел на слаботы желудка; а потом оказалось другое еще досаждение, что это дурень Стецько ничего не понял как следует, а начал всем рассказывать, будто кто только до меня пойдет за кучера, то тому непременно быть подлюгой, или итти в Сибирь. И подумайте, никто из паробков не хочет итти до меня убирать кони и ездить, и у меня некому ни чистить коней, ни кормить их, ни запрягать, и к довершению всего вдруг в одну прекрасную ночь, когда мы со Христиной сами им решетами овса наложили и конюшни заперли—их всех четверых в той ночи и украли!..

Заметьте себе, той самый, що всих конокрадов изводил—вдруг сам сел пешки!

XXI.

Ужасная в душе моей возникла обида и озлобление! Где ж таки, помилуйте, у самого станового коней свели! Что еще можно вздумать в мире сего дерзновеннее! Последние времена пришли! Кони—четверка—семьсот рублей стоили; да еще упряжка,

а теперь дуй себе куда хочешь в погоню за ворами на палочке верхом.

Но и то бы еще ничего, як бы дело шло по-старому, и следствие бы мог производить я сам по „Чину явления“, но теперь это правили уже особливые следователи, и тот, которому это дело досталось, не хотел меня слушать, чтобы арестовать зараз всех подозрительных людей. Так что я многих залучал сам и приводил их в виде дознания к „Чину явления истины“, но один из тех злодиев еще пожаловался, и меня самого потребовали в суд!.. Как это вам кажется? Меня же обворовали, — у меня, благородного человека, кони покрадены, да и я же еще должен спешить поехать и оправдываться противо простого конокрада! Все було на сей гришной земли, всякое беззаконие, но сего уже, кажется никогда еще не було! А тут еще и ехать не с кем, и я, даже не отдохнув порядком, помчался на вольнонаемных жидовских лошадях балогулою, и собственно с тим намерением, щобы там в городе себе и пару коней купить.

Ну, а нервы мои, разумеется, были в страшнейшем разволнении, и я весь этот новый суд и следствие ненавидел!.. Да и для чего, до правды, эти новые суды сдела-

ны? Все у нас прежде было не так: суд был письменный, и що там, бывало, повытчики да секретари напишут, так то спокойно и исполняется: виновный осенит себя крестным знамением да благолепно выпятит спину, а другой раб Бога вышняго вкатит ему, сколько указано, и все шло преблагополучно, ну так нет же! — вдруг это все для чего-то отменили и сделали такое егалите и братарните, что,—извольте вам,—всякий пройдисвит уже может говорить и обижаться! Это ж, ей-Богу, удивительно! Быть на суде и то совестно! То судья говорит, то злодий говорит, а то еще его заступщик. Где ж тут мне всех их переговорить! Я пошел до старого приятеля Вековечкина и говорю:

— Научите меня, многообожаемый Евграф Семенович, як я имею в сем представлении суда говорить.

А он же, миляга,—дай Бог ему долгого вику,—хорошо посоветовал:

— Говори, сказал, как можно пышно, щоб в роде поэзии - и не спущай суду форсу!

— Ну, так, мол, и буду.

И вот, как меня спросили: „что вам известно?“, я и начал:

— Мне, говорю, то известно, що все бы-

ло тихо, и был день и солнце сияло на небе высоко- превысоко во весь день, пока я не спал. И все было так, як я говорю, господа судьи. А как уже стал день приближаться к вечеру, то и тогда еще солнце сияло, но уже несколько тише, а потом оно взяло да и пошло отпочить в зори, и от того стало как будто еще лучше,—и на небе, и на земли, тихо-тихесенько по ночи.

Тут меня председатель перебил и говорит:

— Вы, кажется, отвлекаетесь!

А я ему отвечаю:

— Никак нет-с!

— Вы о деле говорите: как лошади украдены.

— Я о сем и говорю.

— Ну, продолжайте.

— Я,—говорю,—покушал на ночь грибки в сметане и позанялся срочными делами и потом прочел вечерние молитвы и начал укладываться спать по ночи, аж вдруг чувствую себе, что мне так что-сь нехорошо, як бы отравление...

Какой-то член перебил меня вопросом:

— Верно, у вас живот заболел от грибов?

— Не знаю, отчего, но вот это самое место на животе и холод во весь подвенечный столб, даже до хрящика... Я и схопился и спать не можу...

В зали вси захохотали.

— А какая была ночь: темная или светлая? вопросил член.

Отвечаю:

— Ночь была не темная и не светлая, а такая млявая, вот в какие русалки любят подниматься со дна гулять и шукать хлопцов по очеретам.

— Значит, месяца не было?

— Нет, а впрочем — позвольте: сдается, что, может-быть, месяц и был, но только он был какой-то такой необстоятельный, а блудник, то выходил, а то знов упадал за прелестными тучками. Выскочит, подивится на землю и знову спрячется в облаки. И я як вернулся знову до себя в постель, то лег под одеяло и враз же ощутил в себе такое благоволение опочить, что уже думал, будто теперь даже вси ангелы божии легли спачивать на облачках як на подушечках, а притомленные сельские люди, наработавшись, по всему силу так храпят, що аж земля стогнет, и тут я сам поклал голову на подушку и заплющил очи...

И я вижу, что все слушатели слушают меня очень с большим удовольствием, и кто-сь-то даже заплакал, но председатель знову до меня цепляется и перебивает:

— Говорите о том: как были украдены лошади?

— Ну я же к этому все и веду. Вдруг спавшие люди сквозь сон почуяли, где-сь-то что-то скребе. Враз одни подумали, що то скребутся коты... влюбленные коты, понимаете! А другие думали, що то були не коты, а собаки; а то не были и не коты и не собаки, а были вот эти самые бабины сыны злодии...—Но тут председатель на меня закричал.

— Прошу рас не дозволять себе обидных выражений!

А я отвечаю:

— Помилуйте, да в чем же тут обида: ведь и все люди на свити суть бабины дети, как и я, и вы, ваше превосходительство.

В публике прошел смех, а председатель говорит мне:

— Довольно!

А я чую, что публика по мне побораеt, и говорю:

— Точно так-с! Если бы я сказал, девкины дети, то было бы яко-сь неловко, а бабины...

Но он меня опять перебивает и говорит:

— Довольно-с уже этих ваших рассуждений, довольно.

А заметно, ему и самому смишно и публике тоже, и он говорит мне?:

— Продолжайте кратко и без лишнего, а то я лишу вас слова.

Я говорю:

— Слушаю-с, и теперь все мое слово только в том, и осталось, що то были вот сии,—як вы не позволяете их называть бабины сыны, то лучше сказать злодиюки, которых вы посадили вот тут на сем диване за жандармы, тогда як их место прямо в Сибиру!..

Но тут председатель аж пидскочил и говорит:

— Вы не можете делать указани, кого куда надо сажать и ссылать!

А а говорю:

— Нет-с, я это могу, ибо мои кони были превосходные, и сии сучьи дети их украли, и як вы их сейчас в Сибирь не засудите, то они еще больше красти станут... и может-быть, даст Бог, прямо у вас же у первого коней и украдут. Чего дай и Боже!

Тут в публике все мне захлопали, як бы я был самый Щепкин, а председатель велел публику выгонять, и меня вывели, и как я только всередь людей вышел, то со всех сторон услыхал обо мне очень разное: одни говорили: „Вот сей болван и подлец!“

И в тот же день я стал вдруг на весь город известный, и даже когда пришел на конный базар, то уже и там меня знали и друг дружке сказывали: „вот сей подлец“, а другие в гостинице за столом меня поздравляли и желали за мое здоровье пить, и я так непристойно напился с неизвестными людьми, що Бог знае в какое место попал и даже стал танцовать с дивчатами. А когда утром проснулся, то думаю: „Господи! до чего я уронил свое звание и як имею теперь отсюда выйти!“ А в голове у меня, вообразите, ясно голос отвечает:

— Теперь уже порядок известный: спеши скорее с банщиками первый пар в бани опаривать; а потом беги к церкви, отстой и помолись за раннею, и потом наконец иди опять, куда хочешь.

А меж тем те мои незнакомцы все меня спрашивают: видал ли я сам когда-нибудь потрясователей?

Я раз‘ясняю, что настоящих потрясователей я еще не видал и раз даже ошибся на одной стрижке, но что я надеюсь оных открыть и словить, ибо приметы их знаю до совершенства.

А те еще меня вопрошают:

— А есть ли тим подходящим людям что-нибудь у вас в Перегудах делать?

А я отвечаю:

— Боже мой! Как же им не есть что у нас делать, когда у нас хотя люди, с одной стороны, и смирные, но с другой, знаете, и они тоже порою, знаете, о чем-то молчат. Вот! и задумаются и молчат, и пойдут в лес да и Зилизняка или Гонту кличат—а инии и песню поют:

> Колы-сь було на Вкраини
> Добре було житы!

И дошли уже до такого сопротивления власти, что ни один человек не хочет ко мне, как к должностному лицу, в кучера итти.

— Может ли это быть?

— Уверяю вас!

— Отчего же это?

— Могу думать, что единственно оттого, что хотят лишить меня успеха в получении отличия за поимку потрясователя, но я, между прочим, с тем сюда и ехал, чтобы принести ответ суду, кстати нанять себе здесь же и кучера из неизвестных людей, да такого, у которого бы не было знакомых и притом самого жесточайшого русского, из Резанской губернии, чтобы на тройке свистал и обожал бы все одно русское, а хохлам бы не давал ни в чем спуску.

Мне отвечают:

— Так и будет!

И тут уж я при сильном напряжении сил увидал, что это со мною разговаривает какой-то мой вчерашний угощатель, и он повел меня в баню, а потом послал на раннюю, „а как ты,—говорит,—домой придешь, у тебя уже и кучер будет... Да еще какой! Настоящий орловский Теренька. Многого не запросит, а уж дела наделает!“

И действительно, как я вхожу домой, а ко мне навстречу идет с самоваром в руках отличнейший парень с серьгой в ухе и говорит:

— Богу молясь и с легким паром вас!

Я спрашиваю:

— А тебя как зовут?

— Теренька Налетов,—говорит,—по прозванью Дарвалдай, Орловской губернии.

— Что же, говорю, я тебе очень рад: я хотел из Резанских, но и в Орловской губернии тоже, известно, народ самый такой, что не дай Господи! Но мне нужно, чтобы ты мне помогал все знать и видеть и людей ловить.

— Это нам все равно, что плюнуть, стоит.

— Ну мне такой и нужен.

Я его и нанял.

XXII.

Отлично у нас дело пошло! Теренька ни с кем из хохлов компании не водил, а всех знал и не пошел в избу, а один, миляга, с конями в конюшне жил. Кому зима,—студено, а ему ни почем: едет и поет, как „мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой", даже, знаете, за сердце хапательно... Я не знал, как и радоваться, что такого человек достал. Теперь уж я был уверен, что мы выищем потрясователя и не упустим его, но только, вообразите себе, вдруг пошли помимо меня доносы, что будто у нас среди крестьян есть недовольные своею жизнью, и от меня требуют, чтобы я разузнал: кто в сем виноват? Я сам, знаете, больше всех думал на Дмитрия Афанасьевича, который очень трусился, как бы его паробки за дивчат не отлупцовали,—и вот я, в дороге едучи, говорю своему Тереньке:

— Послушай, миляга, як ты себе думаешь, не он ли это разные напасти пишет?

А Теренька прямо отвечает:

— Нет, не он.

— Вон! Почему же ты этак знаешь?

А он, миляга, тонкого ума был и отвечает:

— Потому, что где жь ему с его понятием можно правду знать!

— А это же разве правда?

— Разумеется, правда.

— Вот те и раз! Так рассказывай!

Он и рассказывает мне, что крестьяне в самом деле стали часто говорить, что всем жить стало худо, и это через то именно, что все люди живут будто не так, как надо,—не по-божьему.

— Ишь ты, говорю, какие шельмы! И откуда они могут это знать, як жить по-божьи?

— Ходят, говорит, такие тасканцы и Евангелие в карманах носят и людям по овинам в ямах читают.

Видите, якие зловредные твари берутся! И Теренька, миляга, это знает, а я власть и ничего не знаю!

И Теренька говорит:

— Да это и не ваше дело: это часть попова, пусть он сам за свою кубышку и обороняется.

„И правда, думаю, що мне такое!“

Только у Христи спросил, что она, часом, не ходила ли с сими тасканцами в ямы читанье слухать, но она, дура, не поняла и разобиделась.

— Хиба-де я уже така поганка, что с тасканцем в яму пиду!

— Провались ты!

— Сами валитесь и с богом.

— А що тебя пип про все пытае?

— А вже ж пытае.

— А ты ж ему неужели ж так про все и каешься?

— Ну вот още що взгадали! Чи я дура!

— Отлично, говорю, отлично!

И других многих так же спросил, и все другие так же ответили, а я им всем паки тожде слово рек:

— Отлично!

Потому что: для чего же ему в самом деле все узнавать, когда он уже один орден имеет? Аж смотрю, на меня новое доношение, что я будто бы подаю в разговорах с простонародием штундовые советы! Боже мой милостивый! Да что ж значится штунда? Я же этого еще постичь не могу, а тут уже новая задача: чи я кого-то ловлю, чи меня кто-то ловит. И вот дух мой упал, и очи потухли и зубы обнаженны... А туча все сгущевается, и скоро же в корчме нашли,— представьте себе,—печатную грамотку, а в ней самые возмутительные и неподобные словеса, що мы живем-де глупо и бессовестно, и „вси кто в бога вируя и себя жалуе, научайтеся грамоте, да не слухайте того, що говорят вам попы толстопузые".

Так-таки и отляпано: „толстопузые!“... Господи!.. И все грамотеи это прочитали, и потом взяли да грамотку на цыгарках спалили, а потом еще нашли иную грамотку и в сей уже то и се против дворян таких-сяких, неумех билоруких, а потом кстати и про „всеобирающую полицию“ и разные советы, как жить, щоб не подражать дворянам и не входить в дочинения с полицией, а все меж собой ладить по-божьему. Просто ужасть! И кто ж сию пакость к нам разводит и в люди кидает? Я говорю:

— Теренька! Вот ты, миляга, обещал мне во всем помогать,—помогай же! Я если открою и орден получу, ей-богу, тебе три рубля дам!

А он мне опять отвечает, что ему наверно ничего неизвестно, но что ему удивительно, какие это пиликаны приехали в гости к попу Назарию и все ночами на скрипке пиликают, а днем все около крестьян ходят, а как ночь, они опять на скрипках пиликают, так что по всему селу и коты мяучат и собаки лают.

Аж меня, знаете, всего ожгло это известие!

„Господи, боже мой!—думаю,—да ведь это же, может-быть, они и есть потрясователи?“

— Терентьюшка, миляга мой, ты их наблюдай: это они!

— И я думаю,—говорит,—что они, но всетаки вы, ваша милость, встаньте сами с полуночи и услышите, как они пиликают.

Я так и сделал: завел будильную трещотку на самый полночный час и аккурат пробудился, и сейчас открыл окно в сад и сразу почувствовал свежесть воздуха, и пиликан действительно что-то ужасно пиликает, и от того или нет, но по всему селу коты кидаются и даже до того, что два кота прямо перед моими окнами с крыши сбросились и тут же друг друга по морде лущат.

Ну что это!

Я утром сказал Назарию:

— Что это за пиликаны у вас появились?

А он отвечает:

— Как это пиликаны?—И захохотал.—Это виртуозы, они спевки народные на ноты укладают и пошлют в оперу! А то пиликаны! Ха-ха, „пиликаны“... Смеху подобно, что вы понимаете... „Пиликаны“!

Ну, я стерпел.

XXIII.

А был в той поре у нас за пять верст конский ярмарок, и я туда прибыл и пошел

меж людей, чтобы посмотреть по обязанностям службы. И вижу, там же ходят и сии два пиликана или виртуозы и действительно оба с тетрадками и что то записуют. И я за ними все смотрел-смотрел, аж заморился и ничего не понял, а как подхожу назад до своей брички, чтоб достать себе из погребчика выпить чарочку доброй горилки и закусить, чего Христина сунула, как вдруг вижу, в бричке белеется грамотка... Понимаете, это в моей собственной бричке, в начальственном экипаже! И уже, заметьте. печатано не простою речью, а скрозь строки стишок,—и в нем про то, як по дворах „подать собирают с утра".

Я говорю:

— Теренька! Миляга! Кто тут до моей брички прикасался?

— Я, говорит, не видал: у меня сзади глаз нет.

— Мне бумажка положена. Кто тут был или мимо проходил?

— Проходили эти пиликаны, поповы гости. Спиря да Сема,—я их только одних и приметил.

— А тебе наверно известно, как их звать?

— Наверно знаю, что один Спирюшка, тот все поспиривает, а другой, который Сема, этот посёмывает.

— Это они!

— Да; надо будет,—говорит,—в дружбе им прикинуться и угостить.

— Валяй, говорю: вот тебе полтина на угощение, а как только я орден получу— сейчас тебе три рубля, как обещано.

На другой день, вижу—Теренька действительно идет уже от попа, а в руках дощечку несет.

— Вот, говорит, стараюсь: ходил знакомство завесть.

— Ну, рассказывай же скорее, миляга: как это было?

— Да вот я взял эту дощечку с собой и говорю: „это, должно-быть, святой образок, я его, глядите-ка, в конюшне нашел: да еще его и ласточкиным гнездом закрыло, прости Господи! А от того или нет, мне вдруг стали сны сниться такие, что быть какому-то неожиданью, и вот в грозу как раз гнездо неожиданно упало, а этот образок и провещился, но только теперь на нем уже никакого знаку нет, потому что весь вид сошел. Я просил попа: нельзя ли святой водой поновить?“

— Это ты ловко! Ну, а что же дальше?

— Поп меня похвалил: это, говорит, тебе честь, что ты отыскал священный предмет,

который становой до сей поры пренебрегал без внимания.

— Неужели он так и сказал?

— Ей-богу, так сказал. Мне лгать нечего.

— Ну теперь,—говорю, - он про это непременно на меня донесет, а я возьму, да еще прежде донесу на его Сему и на Спирю.

И донес так, что явились какие-то неизвестные пиликаны Спиря и Сема, и нельзя разузнать, про что Спиря спирит и про что Сема семает, а между тем теперь уже повсеместно подметаются грамотки... И потому я представляю это: как угодно попреблагорассмотрительствующемуся начальству.

Но,—вообразите же,—все ведь это пошло на мою же голову, ибо в обоих пиликанах по обыске их и аресте ничего попреблагорассмотрительствующагося не оказалося и пришлось их опять выпустить. И учинился я аки кляузник и аки дурак, для всех ненавистный, и в довершение всего в центре всенесомненнейшего и необычайнейшего— наполнения грамотками всего воздуха!

Да! если я допекал, бывало, тих злодиев, конокрадов, как вам сказывал, по „Чину явления истины", и если и томил их „благоухищренною виною" , то куда же все это годится перед тем, что я теперь терпевал

сам! А между тем теперь отыскать и поймать потрясователя сделалось уже совершенно необходимо, потому что даже сам исправник против меня вооружился и говорит:

— Ты всеобщий возмутитель и наипервый злодий: мы жили тихо, и никого у нас кроме конокрадов не было; а ты сам пошел твердить про потрясователей, и вот все у нас замутилось. А теперь уже никто никому и верить не хочет, что у нас нет тех, що троны колеблят. Так подавай же их! Даю тебе неделю сроку, и если не будет потрясователя—я тебя подам к увольнению.

Вот вам и адское житие, какого я себе сам заслужил за свою беспокойность!

И, ох, как я после этой беседы в нощи одинок у себя плакал!.. Дождь льет и молнья сверкает, а я то сижу, то хожу один по покою, а потом падаю на колени и молюсь: „Господи! даруй же ты мне его и хоть единого сего сына погибельного“, и опять в уме „мечты мои безумны“... И так много раз это, просто как удар помешательства, и я, с жаром повторивши, вдруг упал лицом на пол и потерял сознание, но вдруг новым страшным ударом грома меня опрокинуло, и я увидал в окне: весь в адском сиянии скачет на паре коней самый настоящий и

форменный потрясователь весь в плаще и в шляпе земли греческой, а поза рожи разбойничья!

Можете себе вообразить, что такое со мной в этот момент сделалось! После толикого времени зависти, скорби и отчаяния, и вдруг вот он!—он мне дарован и послан по моей пламеннейшей молитве и показан, при громе и молонье и при потоках дождя в ночи.

Но размышлять некогда: он сейчас должен быть изловлен.

XXIV.

Я так и завопил:

— Христя! Христя!

Аж она, проклятая баба, спит и не откликается. Ринулся я, як зверь, до ее комнаты и зову кричу: „Христя!" и хочу, щоб ее послать враз, щоб Теренька сию минуту кони подал, и скакать в погоню, но только, прошу вас покорно, той Христины Ивановны и так уже в ее постели нема,—и я вижу, що она и грому и дождя не боится, а потиху от Тереньки из конюшни без плахты идет, и всем весьма предовольная... Можете себе вообразить этакое неприятное открытие в своем доме, и в какую минуту, что я даже

притворился, будто и внимания на это не обратил, а закричал ей:

— Вернись, откуда идешь, преподлейшая, и скажи ему, чтоб сейчас, в одну минуту, кони запряг!

Аж Христька отвечает:

— Тереньна не буде вам теперь коней закладать.

— Это еще що?.. Да як ты смиешь!

А она отвечает:

— А вже ж смию, бо що се вы себе выдумали, по ночи, когда вси христиане сплят, вам щоб в самисенький сон кони закладать... Ни, не буде сего...

— А-а!.. „Не буде!"... „Самисенький сон"... „Все христианство спочивае"... А ты же, подлая жинка, чего не спочивала, да по двору мандривала!

— Я,—говорит,—знаю, зачем я ходила.

— И я это знаю.

— Я ходила слушать, як пиликан пиликае,

— А-га! Пиликан пиликае!.. Хиба в такую грозу слышно, як пиликают!..

— Оттуда, где я была, слышно.

— Слышно! Больше ничего, как ты—самая бессовистная жинка.

— Ну и мне то все едино; а Теренька кони закладать не здужае.

— Я вам дам: „не здужае“. Сейчас мне коней!

— У него зубы болят...

Но тут уж я так закричал, что вдруг передо мною взялись и кони и Теренька, но только Теренька исправда от зубной боли весь платком обвязан, но я ему говорю:

— Ну, Теренька, теперь смотри! Бей кони во весь кнут, не уставай и скачи: потрясователь есть!—настигни только его, щоб в другий стан не ушел, и прямо его сомни и затопчи... Що там с ними разговаривать!

Теренька говорит:

— Надо его на мосту через Гнилушку настичь—тут я его сейчас в реку сброшу, и сцапаем.

— Сделай милость!

И как погнал, погнал-то так шибко, что вдруг,—представьте,—впереди себя вижу,—опять пара коней и на всем на виду в тележке сидит самый настоящий, форменный враг империи!

Теренька говорит:

— Валить с моста?

— Вали!

И как только потрясователь на мост в‘ехал, Теренька свиснул, и мы его своею тройкою пихнули в бок и всего со всеми потрохами в Гнилушу выкинули, а в воде,

разумеется, сцапали... Знаете, молодой еще... этак среднего веку, но поза рожи самоужаснеющая, и враз пускается на самую преотчаянную ложь:

— Вы,—говорит,—не знаете, кто я, и что вы делаете!

А я его вяжу за руки да отвечаю:

— Не беспокойся, душечка, знаем!

— Я правительственный агент, я слежу дерзкого преступника по следам и могу его упустить!

— Ладно, голубчик, ладно! Я тебя посажу на заводе в пустой чан: тебе там будет хорошо; а потом нас разберут.

Но он вошел в страшный гнев и говорил про себя разные разности, кто он такой,— все хотел меня запугать, что мне за него достанется, но я говорю:

— Ничего, душко мое, ничего! Ты сначала меня повози, а после я на тебе поезжу! —и посадил его в чан, приставил караул и поскакал прямо в город с докладом:

— Пожалуйте, что мне следует: потрясователь есть.

XXV.

Но ведь представьте же, что я в город не доехал, и наверно могу сказать, что, почему так случилось, вы не отгадаете. А слу-

чилося вот что: был, как я вам сказал, очень превеликий дождь, да и не переставал даже ради того случая, что я совершил свои заветные мечты и изловил первого настоящего врага империи. И вот я себе еду под буркой весь мокрый и согрелся, мечтая, як оный Гоголевский Дмухонец: що-то теперь из Петербурга, какую мне кавалерию вышлют: чи голубую, чи синюю? И не замечаю, как, несмотря на все торжествование моей победы и одоления, нападает на меня ожесточенный сон, и повозка моя по грязи плывет, дождь сверху по коже хлюпае, а я под буркою сплю, як правый богатырь, и вижу во сне свое торжество: вот он, потрясователь, сидит, и руки ему схвачены и рот завязан, но все меня хочет укусить и наконец укусил. И я на этом возбудился от сна; и вижу, что время уже стало поночи, и что мы находимся в каком-то как будто незнакомом мне диком и темном лесе, и что мы для чего-то не едем, а стоим, и Тереньки на козлах нет, а он что-то наперед лошадей ворочается, или как-то лазит, и одного резвого коня уже выпряг, а другого по копытам стучит, и этот конь от тех ударений дергает и всю повозку сотрясает.

Я ему закричал:

— Теренька! Что это? Отчего кони так дергают и сотрясают?

А он отвечает.

— Молчать!

— Как молчать? Где мы?

— Не знаю!

— Что это за глупости! Как ты не знаешь?!

— Я хотел по ближней дорожке через лес проехать, да вот в лесу и запутался.

— Ты, верно, с ума сошел и хочешь меня убить!..

— Не стоит рук пачкать.

— Кацап проклятый! Тебе все стоит: хоть копеечку за душу взять и то выгодно: сто душ загубишь и сто копеек возьмешь! Вот тебе и рубль! Но я тебе лучше так все деньги отдам, только ты меня, пожалуйста, не убивай.

А он на эти слова уже не отвечал, а вывел пристяжную в сторону и сказал:

— Прощай, болван! Жди себе орден бешеной собаки!—и поскакал и скрылся.

Представьте себе вдруг такое обращение, и как я остался один среди незнакомого леса с одним конем и не могу себе вообразить: где я, и что со мною этот настоящий разбойник уделал?

А он такое уделал, что нельзя было и понять иначе, как то, что он достал мгно-

венное помешательство или имел глубокий умысел, ибо он, как уже сказано, ускакал на пристяжном, покинув тут и свой кучерской армяк и Христин платок, которым был закутан—очевидно от мнимой зубной боли, а другому коренному коню он, негодяй, под копыта два гвоздя забил! Ну, не варвар ли это, кацапская рожа! Боже мий милый, что за положение. А дождь таки и хлыще, а конь больной ногой мотае и стукае, аж смотреть его жалостно... Думаю: посмотрю-ка я, чи нема у меня под сиденьем клещей,—может-быть, я ими хоть одного гвоздя у несчастного коняки вытащу. И с тим, знаете, только що снял подушку с сиденья, как вдруг что же там вижу: полно место тих самых гаспидских листков, що и „мы не так живем и как надо“ и прочие неподобные глаголы..:

Я и упал на колени, а руки расставил, щоб покрыть сию несподиванную подлость! И тут вдруг мне ясно в очи ударило, что ведь это, очевидно, что потрясатель-то чуть ли не кто другой и был, как сам мой Теренька, по прозванию Дарвалдай—лихой; и вот я, я сам и служил ему для удобства развозить по всем местам его проклятые шпаргалки!.. И вот оно... вот тут же при мне находится все самополнейшее на меня доказательство моей самой настоящей

болванской неспособности и несмотрения...

И подумал я себе: „А и що ж то буде за акциденция, як я буду сидеть над теми листками в брычке, да буду недоумевать да плакать? Дождь перейдет, и по дороге непременно кто-нибудь покажется, и я попадусь с поличным в политическом деле! Надо иметь энергию и отвагу, щоб это избавить... Надо все это упредить“.

XXVI.

И вот я вскочил и начал хапать все сии проклятые бумажки! Хотел, знаете, щоб стащить их все чисто куда-нибудь в ров или в болото и там их чем-нибудь завалить или затоптать, щобы оне там исчезли и не помянулись. Аж як все похватал и понес под сим страшнейшем дождем и ужаснейшими в мире блистаниями огненной молнии, то небачил сам, куда и иду, и попал в сем незнакомом лесу действительно на край глубоченного оврага и престрашнейшим манером загремел вниз вместе с целою глыбою размокшей глины. И тут, при сем ужасном падении, все те шпаргалки у меня из рук выбило, и помчало их неодоленным бурным потоком, в котором и сам я, кру-

тясь, заливался и уже погибал безвозвратно; но бытие мое однако было сохранено, и я, вообразите, увидал себя в приятнейшем покое, который сначала принял-было за жилище другого мира, и лежал я на мягкой чистейшей от серебра покрытою простынею постели, а близ моего изголовья поставлен был столик, а на нем лекарства, а невдалеке еще напротив меня другой столик, а на нем тихо-тихесенько свитит ласковым светом превосходнейшая лампа, принакрытая сверху зеленой тафтицей... А далее смотрю и вижу, что в самом месте, где освещено лампой, что-то скоро-скоро мелькает! Я подумал: что это такое, точно как б дто лапка серой кошечки или еще что? Но никак не могу разобрать в'яве: где ж это я и по якому такому случаю? И так все лежу и що-с такое думаю, но однако себе чувствую, что мне очень прекрасно. Верно, думаю, это, может-быть, и есть „еда приидеши во царствие". Ну да, так это и есть: был я человек и делал разные поганые дела, а залился в потоке воды и умер, и должно-быть, по якой, мабуть, ошибке я попал теперь в рай. А може, мне так и следует за то, що я находился в некое время при архиерейском служении. А может-быть, я и с сией заслугой рая все-таки еще недостоин, и это не

рай, а что-нибудь из языческих Овидиевы превращений. И даже это скорей буде так для того, что в раю все сидят и спивают: „свят, свят, свят“, а тут совсем пения нет, а тишнота, и меня уже как молонья в памяти все прожигает, что я был становой в Перегудах, и вот я возлюбил почести, от коих напали на меня безумные мечты, и начал я искать не сущих в моем стане потрясователей основ и начал я за кем-то гоняться и через долгое время был в страшнейшей тревоге, а потом внезапно во что-то обращен в якое-с тишайшее существо и помещен в сем очаровательном месте, и что перед глазами моими мигает—то мне непонятное — ибо это какие-то непонятные мне малие существа, с стручек роста, вроде тех карликов, которых, бывало, в детстве во сне видишь; и вот они между собою как бы борются и трясут железными кольями, от блыщания коих меня замаячило, и я вновь потерял сознание, и потом снова себя вспомнил, когда кто-то откуда-то взошел и тихо прошептал:

— Как сегодня наш больной?

А другой голос также тихо ответил:

— Ему лучше. Доктор надеется, что сегодня он придет в сознание.

Первый голос мне был совсем незнаком,

а второй я как будто где-то слыхал. Только я опять не разбираю, что они шепчут, и серые карлики с стальными копьями спрятались, и потом опять будто через некое неопределенное время знову вижу ту же приятную комнату, но только уже теперь был день, и у того стола, где кошачьи лапки прыгали, сидит дама в темных очках и чулок вяжет. Помышляю себе: „это прехитрый Овидий хочет кого-то обратить той Юлией, которую я столь поганьски обидел при жизни моей на земле в Перегудах, и которая принесла на меня жалобу дворянскому маршалу. Но, отец Овидий, сим ли ты хочешь мене наказать, когда я именно рад, что вижу ее подобие и могу теперь просить ее простить мне мое окаянство". И, чтобы не откладывать сего, произнес: „Простите меня!", но, произнеся эти слова, и сам не узнал своего голоса.

А она быстро встала и, тихо подняв пальчик, шепнула:

— Не говорите. Это нельзя вам! – и поправила мне что-то у моего лица, и вышла, а вместо нее пришел: кто бы вы думали?.. А, ей-Богу, пришел сам маршалок!

Ну тут я уже припомнил не одного Овидия, а и Лукиана и с его встречами и раз-

говорами в царстве мертвых и, дивясь одним глазом на вошедшего, подумал:

„Эге, друг ученый! И ты тут! Не спасла, видно, и тебя твоя ученость!“

А он заметил, что у меня один глаз открыт, и спросил:

— Можете ли вы открыть другой глаз?

Я ему вместо ответа открыл мой другой глаз, а сам спросил:

— А вы, ваше сиятельство, когда же почили на земле и переселились сюда в вечность?

Он меня отчего-то не понял, и я его лучше переспросил:

— Як давно вы изволили вмереть? — На сие он уже улыбнулся и отвечал:

— Нет; мы с вами пока еще находимся в старом состоянии, в кожаных ризах. Да нам и необходимо тут еще кое с чем разделаться.

Я не все понял, но с этих пор начал приходить в себя все чаще и на более продолжительное время, и все видел около себя то самого предводителя князя Мамуру, то Юлию Семеновну, ибо это была она самая. Он и она вырвали меня, як поэты говорят, „из жадных челюстей смерти“, и мало-по-малу Юлия Семеновна в добрейших разговорах открыла мне, что я теперь на-

хожусь в маршалковом доме и содерживаюсь тут уже более як шести недель, а привезен я сюда в бесчувственной горячке, самим же им — маршалком, который обрел меня в безумии моем бегавшего под молоньями и дождем и ловящего листки типографские, разносимые вдаль бешеными ручьями. Маршалок же тогда ехал с какого-то служебного дела, и его сопровождали соседний становой и еще кто-то, и всем им мое безумие явлено ясно, и поличье распространения революционных бумаг они взяли, а меня маршалок всадил к себе в коляску и привез к себе, как весьма больного.

Я же все это слушал и удивлялся и не воображал того, что это только одна капля из того всеудивленного моря, которое на меня хлынуло, а именно, что я совсем не в гостях, а почитаюсь живущим у князя под домашним арестом, доколе можно меня при облегчении недуга оттарабанить в одно из мест заключения, и что для караула меня на кухне живут два человека.

Вот вам и поздоров Боже! Маршалок обязан был известить, когда мне полегчает, и тогда меня увезут в заключение и будут судить за мои преступления. Преступления же мои были самого ужасного характера, ибо я

напал на дороге на самоискуснейшего агента, который послан был выследить и изловить самого дерзновеннейшего потрясователя, распространявшего листки, и я собственноручно сего агента сцапал вместо преступника и лишил его свободы и тем способствовал тому, что потрясователь скрылся, при том на моей лошади, ибо злодей этот был именно мой Теренька!.. Пожалуйте!.. О, Боже мий милий! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно, ибо я сам был взят на таком непонятном деянии, которое выяснит только наистрожайшее следствие, то-есть хотел ли я сокрыть следы оного злейшего пропагандиста, пометая его значки в овраги, или же, наоборот, был с ним в сообществе и старался те проклятства распустить на всю землю, посредством сплава их через устремившиеся потоки.

XXVII.

Когда я это узнал, то сказал предводителю:

— Однако, хоть обвинен я жестоко, но, пусть видит Бог, все было не так.—И я попросил его позволения рассказать, как было, и все, что вы теперь знаете, я рассказал ему и вошедшей в то время Юлии Семеновне, и когда рассказ мой был доведен до-

конца, то я впал в изнеможение - очи мои заплющились, а лицо покрылось смертною бледностию, и маршалок это заметил и сказал Юлии Семеновне:

— Вот наинесчастнейший человек, который охотился за чужими „волосами“, а явился сам острижен Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что их до этого доводят.

А потом они сразу стали говорить дальше по-французски,а я по-французски много слов знаю, но только говорить не могу, потому что у меня носового произносу нет. И тут я услыхал, что всему, что наделалось, я виноват, ибо я сам взманил Тереньку своим пустословием, что будто и у нас есть „элементы“, тогда как у нас, по словам маршалка, „есть только элементы для борща и запеканки“. А теперь тот Теренька утек а великий скандал совершился, и все в волнении, а мне быть в Сибиру! Я же так от всех сих впечатлений устал, что уже ничего не боялся и думал: „пусть так и будет, ибо я злое делал и злого заслужил“.

Но маршалок говорил также Юлии Семеновне, „что он все свои силы употребит, чтобы меня защитить“.

И Юлия Семеновна ему тоже отвечала:

— Сделайте это.

Добрые души! И что еще всего дороже: маршалок находил облегчение моей гадости.

Он говорил:

— По совести, я не вижу в нем такой вины, за которую наше общество могло бы его карать. Что за ужасная среда, в которой жил он: рожден в деревне и с любовью к простой жизни, а его пошли мыкать туда и сюда и под видом образования освоивали с такими вещами, которых и знать не стоит. Тут и Овидий, и „оксиос", и метание орлецов, и припевание при благочестивой казни во вкусе Жуковского, и свещи, и гребень „на браду", и знание всех орденов, и пытание тайностей по „Чину явления истины"... Помилуйте, какая голова может это выдержать и сохранить здравый ум! Тут гораздо способнее сойти с ума, чем сохранить оный, —он и сошел...

Юлия же Семеновна его спросила: „Неужто в самом деле он думает, что я сумасшедший?"

— Да,—отвечал предводитель,—и в этом его счастье: иначе он погиб. Когда его повезут, я представлю мои за ним наблюдения и буду настаивать, чтобы прежде суда его отдали на испытание.

— И знаете,—отозвалась Юлия Семеновна, —это будет справедливо; но только я боюсь, что вас не послушают.

А он говорит:

— Наоборот, я уверен в полном успехе... Что им за радость разводить такую глупую историю и спроваживать к Макару злополучного болвана (это я-то болван!), которого не выучили никакому полезному делу. Без этого бетизы неизбежны.

Юлия Семеновна на это сразу не отвечала и размеривала на коленях чулок, который вязала, а потом улыбнулась и говорит:

— Ах, бетизы! Это слово напоминает мне нашу бабушку, которая была когда-то красавица и очень светская, а потом, проживши семьдесят лет, оглохла и все сидела у себя в комнате и чулки вязала. К гостям она не выходила, потому что тетя Оля, ее старшая дочь и сестра моей матери, находила ее неприличною. А неприличие состояло в том, что бабушка стала делать разныя „бетизы", как-то цмокала губами, чавкала, и что всего ужаснее – постоянно стремилась чистить пальцем нос... Да, да, да! И сделалась она этим нам невыносима, а между тем в особые семейные дни, когда собирались все родные и приезжали важные гости, бабушку вспоминали, о ней спрашивали, и потому ее выводили и сажали к столу, — что было и красиво, потому что она была кавалерственная дама, но тут от нее и начиналось „сокруше-

ние", а именно, привыкши одна вязать чулок, она уже не могла сидеть без дела, и пока она ела вилкой или ложкой, то все шло хорошо, но чуть только руки у нее освободятся, она сейчас же их и потащит к своему носу... А когда все на нее вскинутся и закричат: „Перестаньте! Бабушка! Ne faites pas de bêtises!" — она смотрит и с удивлением спрашивает:

— Что такое? Какую я сделала bêtise?

И когда ей покажут на нос, она говорит: „А ну вас совсем. Дайте мне чулок вязать, и bêtise не будет". И как только ей чулок дадут, она начинает вязать и ни за что носа не тронет, а сидит премило. То же самое, может-быть, так бы и всем людям...

— Именно! — поддержал, рассмеясь, предводитель, — ваша бабушка дает прекрасную иллюстрацию к тому трактату, который очень бы хорошо заставить послушать многих охотников совать руки, куда им не следует.

Но тогда и Юлия Семеновна в насмешку над собою сказала:

— Вот я потому все и вяжу чулки.

— И что же,—сказал князь,—вы по крайней мере наверно никому не делаете зла.

И, сказав это, он вышел, а я всю ночь чувствовал, что я нахожусь с такими наипрекраснейшими людьми, каких еще до сей

поры не знал, и думал, что мне этого счастья довольно, и пора мне их освободить от себя и надо уже итти и пострадать за те бетизы, которые наделал.

Во мне произошел переворот моих понятий.

XXVIII.

С возбуждением сердечнейшего чувства я встал рано утром и, як взглянул на себя, так даже испугался, який сморщеноватый, и очи потухлы и зубы обнаженны, и все дело дрянь. Конечно мое кавалерство: я старик! Скоро я увидал Юлию Семеновну и сейчас же ей сказал:

— Позвольте мне провязать один раз в вашем вязании!

Она же подала и удивилась, что я умею, а я ей сказал:

— Вот я теперь и буду это делать в память препочтенной вашей бабушки кавалерственной дамы.

Она спросила:

— А то для чего вам?

А я отвечал:

— Не хочу больше подражать ничьим бетизам, я теперь в здешней жизни уже конченный.

Она улыбнулась и хотела взять в шутку, но я говорю:

— Это не шутка! Да и довольно мне ветры гонять.

И еще я сказал, что я сильно тронут всем, что от нее добра видел, но не хочу более отягощать собою великодушие князя и прошу его предоставить меня моей участи.

Она на меня посмотрела и вместо того, чтобы оспаривать меня, сказала: „ваше теперешнее настроение так хорошо, что ему не надо препятствовать", и взялась переговорить за меня с князем, и тот подал мне руку, а другою рукою обнял меня и сказал:

— У вашего философа Сковороды есть одно прелестное замечание: „цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится", вот и вы, я думаю, теперь не годитесь более для прежняго своего занятия, а зато в духе вашем поднимается лучшее.

Я отвечал:

— Может-быть, может-быть!—и больше с ним избегал говорить, потому что был тронут.

И так меня от них увезли и привезли прямо сюда в сумасшедший дом на испытание, которое в ту же минуту началось, ибо, чуть я переставил ногу через порог, как ко мне подошел человек в жестяной

короне и, подставив мне ногу, ударил меня по затылку и закричал:

— Разве не видишь, кто я? Болван!

— Болван я, – отвечаю, – это верно, но вашего сана не постигаю.

А он отвечает:

— Я король Брындахлыст.

— Привет мой, ваше королевское величество!

Он сейчас же сдобрился и по макушке меня погладил.

— Это хорошо, говорит, я так люблю,— ты можешь считать себя в числе моих верноподданных.

А я посмотрел, что у него туфли на босу ногу и ноги синие, и отвечаю:

— Благодарю покорно, а что же это твои подданные плохо, верно, о твоем величестве думают: вон как у тебя ножки посинели?

— Да, говорит, брат, посинели...

А потом вздохнул и продолжал:

— Знаешь, это однако только тогда, когда бывает холодно,—тогда, брат, что делать... тогда ведь и мне бывает холодно. Да,—я не могу приказать, чтобы в моем царстве было иначе.

— Совершенно, говорю, правда!

— А вот то-то и есть! Приказываю, а так не выходит.

— Ну, не робей, брат: я тебе шерстяные чулки свяжу!

— Что ты!

— Верь честному слову.

— Сделай одолжение! Ведь у меня особая обязанность: я должен отлетать на болота и высиживать там цаплины яйца. Из них выйдет жар-птица!

И когда я ему связал чулки, он их надел и сказал:

— Ты нас согрел, и поелику сие нам приятно, мы жалуем тебя нашим лейб-вязальщиком и повелеваем обвязывать всех моих босых верноподанных.

И вот я уже много лет здесь живу и всеми любим, потому что, должно-быть, я, знаете, дело делаю.

XXIX.

Раз я спросил у рассказчика: как же был решен вопрос об его испытании?

Он отвечал, что все решено правильно, и он признан сумасшедшим, потому что это так и есть, да это и всякому должно быть очевидно, потому что невозможно же, чтобы человек со здоровым умом пошел за шерстью, а воротился сам остриженный.

Об акте освидетельствования его в специальном присутствии он говорил неохотно

и не много. Против довольно общего обыкновения почитать это актом величайшей важности, он так не думал, и от него даже трудно было узнать поименно: кто именно присутствовал при том, когда его признали сумасшедшим. Он делал кисловатую позу рожи и говорил:

— Были там не якие велыки паны... всих их аж до чорта, так что и помнить не можно, и всякий на тебя очи бочит и устами гогочет и хочет разговаривать... Тпфу им, — совсим волнение достать можно!..

— Ну, а вы же все-таки хорошо с ними говорили?

— Да говорил же, говорил... Но, послушайте: чтобы я хорошо или нехорошо говорил, — за это я вам заручать за себя не могу, потому что, знаете, от этого их приставания со мною тоже случилось волнение, — может, больше через то, что у меня отняли из рук чулок вязать и положили его на свод законов, на этажерку. Я говорил: „не отбирайте у меня, — я привык чулок вязать и на все могу отвечать при вязаньи", но прокурор, или то не прокурор, а полковник сказали, что это невозможно, ибо я должен сосредоточиваться, так как от этого многое зависит. И стали меня пытать: через что я так вздумал опасоваться везде потря-

сователей и искать их в шляпах земли греческой? И я все по своей святой правде ответил, что такая была повсеместно говорка, и я желал отличиться и получить орден, в чем мне и господин полковник хотел оказать поддержку, но паны, мабуть, взяли это за лживое и переглянулись с улыбкой, а меня спросили: „Зачем же вы не надлежащее лицо взяли?“ Я отвечал: „По ошибке и прошу в том помиловать, ибо он скакал в греческой шляпе“. А тогда вдруг и посыпали с разнейших сторон все спрашивать разное:

— Зачем вы изменили ваши виды и намерения?

— Не было никаких намерений!

— Отчего же вы так струсились?

— Помилуйте, как же его не струситься, когда он вдруг под дождем среди темного леса меня завез и вдруг выпрягает одного коня, а другому бьет в ногу гвоздь и говорит, что мне дадут орден бешеной собаки!.. И после того я вижу папирки и понимаю, что это и есть то самое, что мы учили о Франции, которая соделалась республикой!.. И я сейчас же захотел это все скорей уменьчтожить, но далее... вот может сказать господин князь, который тогда меня взял и кормил, и поил, и от темной ночи взирал... А меня спрашивают: „что на вас так повлияло, что вы у князя совсем переменились?“ Как же

это об'яснить: чего я сам не заметил, ка сделалось! Может-быть, потому, что я болен был и вспоминал „смерть и суд“ и я понял ничтожество. А может-быть, от влияния добрых людей стал любить тишноту и ненавидеть скоки и рычания, и мартальезу. Пойте вот что хотите, а я никаких бетизов делать не хочу, и кричу вам: „дайте мой чулок!“ И все неудержимо раз от разу громче: „Дайте мне чулок вязать!.. Дайте мне чулок вязать!..“ А когда ж они не хотели мне дать, то что я виноват в том, что меня волнение охватило! О, Боже мой! Я и не помню, как я вскочил на стол и зарыдал, и зачал топотаться ногами, и ругать всех наипозорнейшими словами, какими даже никогда и не ругался, и ужаснеющим голосом вскрикивал: „Дайте мне чулок вязать, гаспиды! Дайте чулок вязать, ибо я вам чорт знае якие бетизы сейчас на столе наделаю!“ И потом уже ничего не помню, аж до того часу, как снова увидал себя здесь на койке в свивальниках. Й тогда опять сказал: „Дайте чулок вязать!“ И когда мне дали — я и утишился. А вот теперь знову вспомнил, як ти гаспиды хотели, щоб я мартальезу заспивал и... ой, знову... дайте мне скорее мой чулок вязать!.. а то я буду в волнении!

Я потревожил Перегуда и другими вопросами: не тяжело ли ему его долговремен-

ное пребывание в сумашедсшем домє?

Он отвечал:

— И немалесенько! Да и що такое вы называете здесь „сумасшедший дом"! Полноте-с! Здесь очень хорошо: я вяжу чулки и думаю, що хочу, а чулки дарю, — и меня зато любят. Все, батюшка мой, подарочки любят! Да-с, любят и „благодару вам" скажут. А впрочем, есть некоторые и неблагодарные, как и на во всем свити.:. О, Господи! Одно только, что здесь немножко очень сильно шумят... Это, знаете, она...бездна безумия... О. страшная бездна! Но ночью, когда все уснут, то и здесь иногда становится тихо, и тогда я беру крылья и улетаю.

— Мысленно улетаете?

— Нет совсем, з целой истотою.

— Куда же вы летите?... Это можно спросить?

— Ах, можно, мий друже, можно! Про все спросить можно! — вздохнул он и добавил шопотом, что он улетает отсюда „в болото" и там высиживает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы.

— Вам, я думаю, жутко там ночью в болоте?

— Нет; там нас много знакомых, и все стараются вывести жар-птицы, только пока еще не выходят потому, что в нас много гордости.

— А кто же там из знакомых: может-быть, Юлия Семеновна?

— Сия давно сидит за самою первою кочкой.

— А князь или предводитель?

— Его нет. Он верит в цивилизацию и представьте - он старался меня убедить, что надо жить своим умом. Он против чулок говорит, что будто „с тех пор, как я перестал подражать одним бетизам, я начал подражать другим“. Да, да, да! Он говорил мне про какого-то немца, который выучил всю русскую граматику, а когда к нему пришел человек по имени Иван Иеанович Иванов, то он счел это за шутку и сказал: „Я снай: Иван —мошна, Иваниш—восмошна, а Иваноф— не дольшна“. Я спросил, к чему же мне эта грамматика? А князь мне отвечал: „Это к тому, что не все сделанное с успехом одним человеком хорошо всем проделывать до обморока. Вспомните, говорит, хоть своего Сковороду: надо итти и тащить вперед своего „телесного болвана“.

Я сказал, что это и правда!

— Правда,—повторил тихо и Перегуд и, вздохнув, опять повторил:—правда!—А потом взял в руки свой чулок и зачитал:— „Вот грамматика, вот грамматика, вот какая грамматика: Я хожу по ковру и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врешь, и он ходит, пока врет, и мы ходим, пока врем,

и они ходят, пока врут... Пожалей всех, Господи, пожалей! Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются як луна, и безпокоятся як сатана? Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца с'есть. Ой, затурмантовали бидолагу болвана, и весь ум у него помутивься. Нет, ну вас!.. Прощайте!

Он вдруг надулся, сделал угрюмую позу рожи и ушел быстро, шевеля спицами своего вязанья.

Теперь это был настоящий сумасшедший, словам которого не всякий согласился бы верить, но любитель правды и добра должен с сожалением смотреть, как отходит этот дух, обремененный надетыми на него телесными болванами. Он хочет осчастливить своим „животными благоволением“ весь мир, а сила вещей позволяет ему только вязать чулки для товарищей неволи.

Эпилог.

Оноприй Опанасович Перегуд почил великолепно и оставил по себе память в сумасшедшем доме. Отшел он отсюда в неведомый путь, исполненный лет и доброго желания совершить „всякое животное благоволение“,

Последние дни своего пребывания на земле Перегуд испытал высокое счастие

верить в возможность лучшей жизни в этой юдоли смерти. Сам он ослаб, как кузнечик, доживший до осени, и давно был готов оторваться от стебля, как созревшая ягодка; он еще думал об открытиях, с которых должно начаться „обновление угасающего ума".

Неустанно вязавши чулки, Перегуд додумался, что „надо изобресть печатание мыслей". Гутенбергово изобретение печатания на бумаге он признавал ничтожным, ибо оно не может бороться с запрещениями. Настоящее изобретение будет то, которому ничто не может помешать светить на весь мир. Печатать надо не на тряпке, и не на папирусе, а также и не на телячьей и не на ослиной коже... Убивать животных не будут... Каждое утро, прежде чем заалеет заря—в этот час, когда точат убийственный нож, чтобы, „сняв плуга ярмо, зарезать им пахаря", Перегуд видит, как несется на облаках тень Овидия и запрещает людям „пожирать своих кормильцев", а люди не слышат и не видят. Перегуд хочет, чтобы все это видели и слышали это и многое другое, и чтобы все ужаснулись того, что они делают, и поняли бы то, что им надо делать. Тогда жить и умирать не будет так страшно, как нынче!.. Он все напечатает прямо по небу!.. Это очень просто. Надо

только узнать: отчего блистает свет, и как огустевает тьма...

Перегуд покидал чулок и рисовал и вырезывал из бумаги огромные глаголицкие буквы: он будет ими отражать прямо на небо то, про что восшумит глас, вопиющий в пустыне: „Готовьте путь! Готовьте путь!“ Уж слышен росный дух, и как только держащий состав вод отворит бездну, тогда сейчас твердый лед станет жидкой влагою и освежает все естество и деревья дубравные, и возгремит Божие страшное великолепие!

И вот раз после жаркого дня, который, по обычаю, на рассвете предварила Перегуду Овидиева тень, стали сбираться тучи с разных сторон и столкнулись на одном месте. Буря ударила, пыль понеслася, зареяли молоньи, и загремели один за другим непрерывно громовые раскаты.

Пришло страшное явление юга — „воробьиная ночь“, когда вспышки огня в небесах ни на минуту не гаснут, и, где они вспыхнут, там освещают удивительные группы фигур на небе и сгущают тьму на земле.

В сумасшедшем доме, как и везде, где это было видно, царил ужас... кто стонал, кто трясся и плакал, некоторые молились, а кто-то один декламировал:

Страшно в могиле холодной и темной,
Ветры там воют гробы трясутся,
Белыя кости стучат...

Но Перегуд „победил смерть“, он давно устал и сам давно хотел уйти в шатры Симовы. Там можно спать лучше, чем под тяжестью пирамид, которые фараоны нагромоздили себе руками рабов, истерзанных голодом и плетью. Он отдохнет в этих шатрах, куда не придет угнетатель, и узнает себя снова там, где угнетенный не ищет быть ничьим господином... Он ощутил, что его время пришло! Перегуд схватил из своих громаднейших литер Глаголь и Добро, и вспрыгнул с ними на окно, чтобы прислонить их к стеклам... чтобы пошли отраженья овамо и семо.

„Страшное великолепие“ осветило его буквы и в самом деле что-то отразило на стене, но что это было, того никто не понял, а сам Перегуд упал и не поднимался, ибо он „ушел в шатры Симовы“.

Многие из сумасшедших при погребении Перегуда имели на себе чулки его работы и некоторые при этом плакали, а еще более чувствительные даже пали ниц и при отпевании брыкали обутыми ногами.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ

„КРУГ“.

МОСКВА, Леонтьевский пер., д. 23, тел, 76-86.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Н. С. ЛЕСКОВ „Заячий ремиз“, повесть, обл. худ. Льва Бруни.
Всев. ИВАНОВ „Седьмой берег„ кн. рассказов, обл. худ. Ю. Анненкова.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

АЛЬМАНАХ „Круг“ № 1 **Содержание**: стихи Н. Асеева, В. Казина, В Ильиной, П. Орешина, Б. Пастернака, Н. Тихонова И. Эренбурга, Рассказы и повести: Е. Замятина—„На куличках“, А Малышкина „Падение Даира“, В. Каверина—„Пятый странник“, М. Зощенко „Коза“. Б. Пильняка—„Третья столица“, обл. худ. Ю. Анненкова.

„ВЕСЕЛЫЙ АЛЬМАНАХ“ Участвуют: Н. Никитин, Мих. Козырев, Мих. Зощенко, Ив. Лутьин и др., обл. худ. Льва Бруни.

Н. ТИХОНОВ „Брага“ вторая книга стихов, обл. худ. Ю. Анненкова

Б. ПИЛЬНЯК „Никола-на-Пасадьях“ кн. рассказов, обл. худ Ю. Анненкова.

Н. АСЕЕВ „Избрань“ кн. стихов, обл. худ. Родченко.

О. ФОРШ „Равви“ пьеса, обл. худ. Льва Бруни.

А. ЯКОВЛЕВ „Повольники“ кн. рассказов, обл. худ. И. Рерберга.

А. АРОСЕВ „Две повести“.

В. КАЗИН „Рабочий май“ кн. стихов.

М. ШКАПСКАЯ „Явь“ поэма, обл. и фронтиспис худ Льва Бруни.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

АЛЬМАНАХ „Круг“ № 2.
Вл. МАЯКОВСКИЙ „Лирика“.
НОВАЛИС „Цветень“ перевод Гр. Петникова.
А. ГЛОБА „Игрище чудодейное“
С. ГРИГОРЬЕВ „Васса“.

